

ОГУЛЬТЭЧ ОРАЗБЕРДЫЕВА

УТРО МОЕЙ ЖИЗНИ



*Огултэч
Оразбердыева*

УТРО МОЕЙ ЖИЗНИ

ПОВЕСТЬ



*С туркменского
перевела
Н. Мамина*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАГАРЫФ»
АШХАБАД 1983

Оразбердыева О.

Утро моей жизни: Повесть (Пер. с туркм. Н. Желниной),
А. Магарыф, 1983.

Повесть «Утро моей жизни» — первая книга Огултэч Оразбердыевой, переведенная на русский язык. Это во многом автобиографическое произведение. Эта повесть о девочке, отец которой ушел на фронт и домой не вернулся — не все солдаты возвращаются с поля боя...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Самые первые воспоминания	3
Караулим бахчу	9
Сказки бабушки Садап	34
Мудрый лекарь и жестокий хан	40
О человеке, который понимал птичий язык	42
«А я не опозорился!»	43
Пустыня греет и кормит	45
На птицеферме	61
У нас свирепствует корь	68
Школа.	79

70803 — 901

О----- 128 — 83 4702540200 ББК 84.3Тур
М 552 (15) — 83



САМЫЕ ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Когда мне было четыре года, отец ушел на войну, и я его совсем не помню. Не могу представить, какое у него лицо, какой голос. Сколько ни рассказывала мама разных случаев об отце — не помню, и все.

А Нуртэч помнит. Она старше меня на два года.

Беспамятливость моя, наверное, огорчала маму. Сама она ни на минуту отца не забывала. В доме каждая вещь говорила о том, что недавно здесь жил еще один человек, хозяин. От мамы то и дело мы слышали: «Эту лампу купил ваш отец», «Бритва вашего отца», «Папин халат». Повязывая нам с Нуртэч новые косынки,

она говорила: «Отец с базара привез», И я, не помнившая отца, любила его всем сердцем, мечтала, чтоб он поскорее вернулся.

Раз, в пятницу, — отец, по мамным подсчетам, уже месяцев семь как уехал — наш сосед, старик Ходжамурад собрал у себя во дворе ребятешек и стал всем подряд брить головы. Больше, как видно, некому было этим заняться, а Ходжамурад-ага плохим оказался цирюльником.

Когда подошла моя очередь, он плеснул себе в ладонь теплой воды из кундука¹ и принялся так тереть мне голову, что у меня от боли скулы свело. «До чего жесткие волосы, никак не смочишь», — бормотал дед и тер, тер, а я сидела скорчившись и скулила потихоньку. Потом Ходжамурад-ага взял бритву и начал скоблить мою макушку. Тут уж я зарыдала в голос. Дед растерялся, стал уговаривать меня потерпеть, но я знай ору и верчу головой. Видя, что добром со мной не справится, Ходжамурад-ага свалил меня наземь лицом вниз и придавил коленом. Теперь, сколько ни верещи, не то что вырваться — пошевелиться невозможно.

Мама сидела рядом, смотрела на меня жалостливо и шептала из-под яшмака² что-то утешительное. Но я рыдала и ничего не слышала. Наконец дед кончил скоблить, смахнул волосы у меня с шеи, и, словно ярка, освободившаяся от пут, я кинулась в мамины объятия.

Дома, осмотрев меня, мама заохала:

— Вай-эй, да он всю голову изрезал! Будь дома отец, никто бы этому подслеповатому детей не доверил.

С тех пор наши с Нуртэч головы мама брила сама. Ее осуждали, говорили: грех женщине этим занимать-

¹ Кундүк — медный кувшин для умывания.

² Яшмак — конец головного платка, которым замужние туркменки, по старому обычаю, прикрывают рот в присутствии мужчин и старших.

ся, но она не слушала. И скоро так наловчилась, что, когда проводила бритвой по голове, нам было ничуть не больно, только щекотно.

Мама ждала маленького. Вскоре у нас с Нуртэч появился братик.

Мы помчались по селу с радостной вестью. Все, кому я говорила про братика, начинали улыбаться, поздравляли и непременно чем-нибудь одаривали. Иначе и быть не может, казалось мне. Но вот я заскочила в дом Силаана. Жена его, Нургозель, оказывается спала.

— Родился, ну и слава богу! Чего носишься, как теленок, сорвавшийся с привязи? Только задремала... — недовольно сказала она, бросила мне в подол горсть джиды¹ — там уже были кишмиш, сушеный урюк — и снова легла.

Больше я никуда не пошла: придерживая подол, побрела домой. И все думала: почему Нургозель не обрадовалась, как другие, узнав, что у меня теперь есть братишка?

Силапова жена считалась нашей воспитательницей. Она обязана была присматривать за детьми тех женщин, которые день-деньской работали в поле.

Утречком нас приводили к Нургозель, но едва успевали мамы выйти за околицу, как воспитательница выгоняла нас во двор, и до вечера мы были предоставлены сами себе. Разве что пошлет Нургозель кого постарше за водой или заставит сынишку нянчить. Чаше всего качать люльку приходилось Нуртэч.

— Не сглазить бы, девчонка настоящая мастерица, — много раз говорила Нургозель. — Когда она качает, Оразджик спит крепко-крепко.

Я очень привязана была к своей сестре, без нее чувствовала себя одинокой и брошенной, поэтому

¹ Джиды — дикая маслина.



здорово злилась на Нургозель за то, что она приспособила Нуртэч в няньки.

В то время, весной сорок третьего года, в редкой семье пекли чурск. Обычно довольствовались кыззырмой—тонкими пресными лепешками, наскоро испеченными на железной печке. А наша воспитательница чуть ли не каждый день шлепала в печь—тамдыр—большие круги белого пшеничного теста. Помню острое чувство голода, которое я начинала испытывать, едва разносился по двору запах свежеспеченного хлеба. Наверное, и другим ребятам так же хотелось есть, но мы даже друг другу в этом не признавались. И ведь никто не учил, сами откуда-то знали — надо делать

вид, что сыты, что чужой чурек нас не интересует. Только одна девочка, Энеджан, не могла утерпеть. Она по пятам ходила за Нургозель и получала в конце концов кусочек теплого хлеба величиной в два пальца. Мы дразнили ее попрошайкой, а случалось, и колодили.

Матери наши видели, конечно, что Нургозель нерадивая воспитательница. Я не раз слышала, как они говорили:

— Эта баба для того взялась за детьми смотреть, чтобы ее бездельем не попрекали, а вообще-то ей плевать на детей, не больно она их любит.

Вот почему Нургозель не порадовалась моему братику, догадалась я. Она не любит маленьких, только своего Оразджика.

Мама лежала в постели. Огульбостан-эдже, повивальная бабка, варила для нее болтушку — вода, мука и немного бараньего сала. Жена дяди Курбана, старшего брата нашего отца, принимала гостей. Для традиционных пишиме—сдобных пышек, жаренных в сале, — у нас не хватило муки. Поэтому пришедшим взглянуть на братика подавали только чай с хлебом.

Женщины входили, смотрели на малютку, и лица у них становились добрые-добрые.

— Пусть долгими будут его года, — говорили они и усаживались в сторонке — чаю попить и побеседовать.

Разговор, как всегда, шел о войне. Кто-то получил письмо от сына, сын пишет: «Лежу под пулями, они льются на нас словно дождь». Муж такой-то ранен, ему ногу отняли по шиколотку. Чей-то брат в госпиталь попал, а у другой женщины муж уже выписался; может, на побывку приедет, перед тем как снова на фронт...

Уходившем гельнеджэ — жена дяди — отсыпала «той пай», подарок, — горсть джиды, целый чурвал которой мама хранила для этого дня.

Наконец остались только самые близкие: Огульбостан-эдже, бабушка Садап и гельнедже Бибидже-мал. Они стали думать, как назвать братишку. Мама услышала, о чем речь, приподнялась в постели:

—Гельды пишет: если сын—назовите Мурадом. «Мурад» — значит «сбывшаяся мечта».

—Хорошее имя,—сказала бабушка Садап.—Но надо бы так назвать мальчика, чтобы все знали—он родился весной.

Братика назвали Язмурадом¹.

У меня глаза слипались от усталости. Шутка ли, целый день в беготне. Обычно я спала под боком у мамы, но в тот вечер она указала местечко подальше. Между мной и мамой лежал братишка. Никто, наверное, не ликовал так, как я, при его появлении, а тут чуть не заплакала. Обидно сделалось, что оттеснил меня. Но вскоре от обиды и следа не осталось.

На седьмой день Огульбостан-эдже выкупала братишку, заперенала его и отдала Нуртэч. Мы понесли Язмурадика по селу, зашли с ним в несколько домов, провели его через семь препятствий. Еще сохранялся этот древний обычай—человека во младенчество застраховывать от семи главных бед.

Но не помогло: наш братишка жил не долго, умер на четырнадцатый день. Как потом объяснила мама, его, бедняжку, коснулась «младенческая». Болезнь такая бывает у самых маленьких.

Ходжамурад-ага и еще один старик завернули братика в камышовую циновку и унесли на кладбище.

Мы с Нуртэч принялись вопить:

— Не уносите!

Не сразу дошло до нас, что Язмурадик умер. С трудом нас тогда успокоили. А мама ни слезинки не пролила, но лицо у нее черное сделалось. Приходили жен-

¹ Яз — весна.

щины, те же, что поздравляли с новорожденным, читали заупокойную молитву, аят, и говорили маме:

— Не печалься, ты молодая. Гельды благополучно вернется, будут у вас еще сыновья. Лишь бы отец твоих детей остался жив-здоров.

Мама медленно кивала и смотрела куда-то мимо всех.

Много дней была она хмурой и молчаливой, задумывалась и вздыхала глубоко-глубоко.

КАРАУЛИМ БАХЧУ

Колхоз посеял дыни во впадине Джинили-Ой — Чертовой низине. В середине июня на плетях появились завязи.

Понадобился сторож—караулить бахчу, но никто в селе не хотел за это браться.

О Чертовой низине ходили дурные слухи. Будто бы, едва солнце достигнет зенита, появляется в том месте красавица с недобрыми глазами, вся обвешанная украшениями... А темными ночами виден там странный огонь... Говорили что-то еще, я не запомнила. Вот женщины и боялись.

Немногие мужчины, оставшиеся в колхозе, были заняты на работе поважнее, чем охрана арбузов и дынь. В конце концов сторожить бахчу согласилась мама. Ее тяготило вынужденное безделье—ослабев после родов и смерти братишки, она не могла работать в поле. К тому же у нас кончилась мука.

Колхоз выдавал пшеницу каждый день. Отправляешься с утра на работу, а вечером получаешь то, что причитается тебе за сделанное. Мама в поле ходить не могла, ей был прямой смысл ехать в Джинили-Ой: так сказал бригадир, который пришел уговаривать.

Решилась она не сразу. Целый вечер советовалась

с женщинами, ехать нам или нет. Огульбостан-эдже, жена деда Ходжамурада, помню, сказала:

— Насчет джиннов и прочего — все это выдумки бездельников. Однако ты молода еще, не испугалась бы, хоть сердце у тебя стойкое.

А бабушка Садап говорит:

— Мой совет — соглашайся. Все сущее боится человека. Поешь там арбузов, дынь, здоровье поправишь. Если уж очень страшно станет, я приеду к тебе в товарищи.

В Джинили-Ой мы выбрались к вечеру.

На холмике — чтобы всю бахчу видеть — стоял шалаш. Мама сразу же принялась устраиваться в шалаше: постелила кошму, сложила в глубине одеяла, на них подушки бросила, а у входа разместила всякую утварь: казан, деревянную миску, ложки, пиалушки, чайник. Потом взяла ведро и пошла за водой.

Недалеко от шалаша, у подножия холмика, пролегал старый арык, заросший колючкой и всякими травами. За арыком были развалины. Давным-давно здесь жил какой-то именитый ахун — наставник в мусульманской духовной школе — медресе. Теперь мечеть, школа при ней и кельи учеников обветшали, стали рушиться.

Там, где кончались развалины, начинались песчаные барханы. На противоположном краю бахчи был еще один арык, широкий и глубокий, а над ним камыш. Оттуда к бахче вела канавка — для полива.

Не успело солнце спрятаться, появились комары. Целые тучи комаров. Они вились вокруг нас с противным тоненьким зуденьем и кусали, кусали, кусали. Я била себя по ногам и рукам, вертелась, тянула платье, стараясь прикрыть им ноги, — ничего не помогало. Комары жалили, и на месте укуса вздувался волдырь. Я бы заревела, да совестно было перед мамой и Нуртэч. «Вот бабушка Садап говорила, что все сущее

боятся человека, а комары нас не боятся»,—думала я с обидой.

Тем временем мама притащила откуда-то ведро овечьего помета, разложила его кучками и подожгла. Дыма комары боялись — сразу же оставили нас в покое, но и нам самим стало нечем дышать. Чихая и кашляя, Нуртэч спросила, почему здесь столько комаров, дома-то их почти нет.

—Возле воды и в камышовых зарослях комаров всегда много, — сказала мама. — Когда станет жарче, комары пропадут.

И то хорошо.

Боясь, как бы от укусов не появились болячки, мама натерла нам руки и ноги керосином. Не помню, как мы с Нуртэч заснули в шалаше. Сквозь сон я слышала, что мама несколько раз вставала и подбрасывала в огонь овечьи катышки.

На следующий день я проснулась поздно, солнце было уже высоко. Мама и Нуртэч сидели у входа в шалаш и пили чай.

— А мне, а мне?—сварливым спросонья голосом закричала я.

Они засмеялись.

После чая мама повела нас по бахче. На одних плетях были только усики, на других желтые цветки, а кое-где и завязи мохнатенькие появились. Увидев, что есть продырявленные листочки, а некоторые и вообще объедены, мама нахмурилась.

— Черепяхи, негодницы!—сказала она.—А вот это, — и показала листок в дырочках,—бахчевые коровки пасутся, чтоб у них корень у всех выгорел!

Мы с Нуртэч принялись разглядывать дырявые листочки и на одном из них обнаружили двух маленьких жучков, желтых с черными точками. Они сидели и лакомились.

— Эти могут все превратить в саман, — сказала мама и раздавила букашек.—Чтоб у них корень выгорел!



—повторила она.

Потом мы увидели сразу трех черепах.

—Ну скажи, как у дыни врагов много!

Мама велела Нуртэч сбежать к шалашу за лопатой, выкопала яму, бросила черепах, засыпала землей и притоптала.

Не спеша обошли мы бахчу. Зоркий мамин глаз все приметил. Вернувшись к шалашу, она дала нам по бутылке, налив в каждую воды, и сказала, чтобы мы ходили по грядкам, внимательно осматривали

плети и всех букашек, каких найдем, кидали в бутылки. Сама она замесила глину и соорудила два очага, потом набрала хворосту и обед сварила. А мы с Нуртэч ползали по грядкам и ловили зловредных бахчевых коровок.

Букашки отчаянно барахтались, попав в воду, и мне было жаль их. Но рядом, вполголоса напевая, проворно работала Нуртэч: ее бутылка быстро наполнялась. Мне ничего не оставалось, как следовать примеру сестры. Я ожесточила свое сердце, вспоминая мамнины слова: «Эти могут все превратить в саман».

Бахча была обширной, букашек видимо-невидимо, работы нам хватило на много дней.

С черепахами мама управлялась сама. Не знаю, как Нуртэч, а я их здорово боялась первое время. Тех трех, что мама закопала, мы потом не нашли: они, верно, выбрались из ямки и уползли.

На бахче был определенный порядок. Ближе к во-



де, по берегу канавы, вились тыквы — они самые влаголюбивые. - Вдоль поливных борозд стлались арбузные плети. Дыни росли вперемежку с фасолью и кукурузой. Пока мы собирали букашек, мама расправляла плети, рыхлила землю, вырубала на грядках колючку.

В полдень становилось нестерпимо жарко. Воздух начинал дрожать и струиться от зноя — словно прозрачные дымки, поднимаются тут и там. Мама уходила в шалаши пить полдневный чай, а мы с Нуртэч бежали к арыку купаться. Одежку стаскивали на ходу и с разбегу бултых в воду. Вода расколышется от нашей возни так, что волны через голову переплескиваются. Если воды в арыке много, то мне как раз по горло, если поменьше — до плеч.

Мы барахтались, пока не посинеем. Замерзшие, ложились на горячий песок. Но только обсохнешь — и снова жарко. Тогда опять в воду. В конце концов в голове зашумит и во всем теле слабость появится.

— Хватит, — скажет Нуртэч.

Песчаная дорожка от арыка к шалашу раскалится, словно медная. Мы старались как можно дальше пробежать по ней, пока ноги еще мокрые, потом ковыляли на пятках или ставили ступни боком.

В шалаше первым делом хватались за скатерку, в которой завернут хлеб. Солнце к этому времени давно уж минует зенит, мама выпьет свой третий чай, зной станет умеренней. Пора снова идти на бахчу ловить букашек.

Поначалу я сильно тосковала. Так хотелось повида-ться, поиграть со своими подружками. Несколько раз на дню приставала к маме:

— Ну давай вернемся домой.

Но стоило мне захныкать, как Нуртэч толкнет меня в бок и шепчет укоризненно:

— А кто обещал не надоедать маме? Называется — дочь фронтовика!

Я считала свою сестру очень умной, все знающей, почти как мама. Может, потому, что мама взяла привычку обо всем с ней советоваться. Других-то советчиков на бахче у нее не было. Так или иначе, но я решила — хоть помру от скуки, но домой проситься больше не буду.

Минувало полмесяца. Мама отправилась в село жать пшеницу на нашем участке. Уходя, она крепко-накрепко наказала Нуртэч меня не обижать, от шалаша далеко не отходить, гнать скотину, если забредет на бахчу, воров не пускать, кричать им: «Сейчас маму позову!»

Вредных жучков мы уже переловили и стали посвободнее. У Нуртэч, правда, появилась обязанность ходить за водой и кипятить чай, но и ей хватало времени для забав.

У арыка росли серебристые кустики с мелкими кремовыми цветами (чего только не росло возле нашего арыка!). Мама говорила с почтением — лекарство от

ста болезней. Но не этим прельщали нас скромные кустики: после цветов появлялись на них зеленые шарики, похожие на ягоды, — семена. Я даже пыталась их отведать — Нуртэч не дала. Из шариков, нанизывая их на нитку, мы делали бусы, каждый день новые, — не лень было! — и считали, что они ничуть не менее красивы, чем настоящие.

Часами с упоением играли мы в куклы. Кукол, купленных в магазине, у нас, конечно, не водилось. Сами мастерили их, как и бусы. Двадцатикопеечная монета, обшитая белой тряпочкой, — лицо, на нем карандашом нарисованы нос, глаза и губы. Туловище из камышинки потолще. Шелковая тряпочка — платье, пестрый треугольный лоскуток — кынгач, головной платок. Из щенок мы строили куклам дома, постель делали из обрывков кошмы. Главное удовольствие — водить кукол в гости друг к другу. Иногда они даже ездили верхом... на черепахах. Седло делалось из глины. На редкость спокойный транспорт. Если, случалось, в разгар игры мама позовет кого-нибудь из нас, мы бывали страшно недовольны.

Но в тот день, когда мама ушла в село (казалось бы, играй без помех!), нам про кукол и не вспомнилось. До самого маминого возвращения просидели в шалаше, дрожа от страха.

Мама вернулась перед заходом солнца. Увидев ее, мы со всех ног бросились навстречу, все вокруг снова стало привычным, спокойным, место уже не казалось таким пустынным, а шорох ветра в камыше — злое щим.

Мама наша очень устала. Ясное лицо ее потемнело и сморщилось, в волосы набилась пыль, платье на плечах взмокло от пота.

Жалость к ней переполнила мое сердце. Нуртэч, наверное, чувствовала то же самое; она проворно разожг-

ла костерок под боком у черной, закопченной тунчи¹ и скоро пошла маму чаем.

На следующий день мы снова остались одни, но страха больше не испытывали. Решили даже обойти бахчу, как это делала мама. Отправились. Нуртэч впереди, а я за ней. Плети, совсем коротенькие в день нашего приезда, стали длинными-предлинными, крошечными мохнатыми завязи сделались величиной с чайник и пестрели среди листьев тут и там. Тыквы дружно цвели, листья у них были большие, как верблюжий след, а под ними таились круглые хайван-кэди — кормовая тыква, продолговатые палóв-кэди — тыквы для плова, полосатые даш-кэди — каменная тыква, зимний сорт.

Нуртэч сказала:

— Давай сорвем дыню.

— А мама ругать не будет? — выразила я опасение, потому что хорошо помнила, как она наказывала: «Без разрешения дыни рвать не смейте!»

— Не узнает, — ответила Нуртэч.

— Ну давай.

Упрашивать меня не приходилось. Нуртэч сорвала себе маленький вахармáн, а мне какую-то пеструю дыньку с другой грядки, чтобы мама не заметила по-травы.

Мы уселись на землю между грядок и стали лакомиться. Кожа от дыни еще не окрепла, сладости не было никакой, но во рту и в желудке возникла приятная прохлада.

Когда с дыньками было покончено, Нуртэч объявила:

— Сегодня искупаемся в другом месте. Вон там, — она показала рукой, — тоже широко и мелко. Я там купалась в позапрошлом году, когда с папой приезжала.

¹ Тунча — жестяной кипяtilьник.

При маме я еще осмеливалась возражать Нуртэч, но когда мы оставались одни, целиком подчинялась ее воле.

Вздохнув — мне почему-то не хотелось купаться на новом месте, — я покорно побрела за сестрой к арыку.

Дорогу Нуртэч выбрала неудачную — полным-полно колючек, они то и дело впивались нам в пятки, приходилось останавливаться и вынимать. А тут еще вспомнилась разряженная красавица, о которой рассказывали в селе. Надо же, вспомнилась все-таки! При маме ни разу не вспомнилась. Только хотела шепнуть о ней Нуртэч, как та вдруг резко остановилась и вскрикнула:

— Что это?!

И я увидела: у арыка, в зарослях, стоит кто-то большой, похожий на человека.

— Ой, это джинн! — Нуртэч помчалась прочь.

Я — следом. Сзади мне чудились топот и треск. «То самое гонится за нами, — обмирая от ужаса, думала я. Сердце бешено стучало, не хватало воздуха, ноги цеплялись одна за другую. — Сейчас... сейчас догонит и будет душить...»

Я споткнулась, шлепнулась наземь и заорала дурным голосом. В два прыжка Нуртэч вернулась, схватила меня за руку и побежала так, что мои ноги почти не касались земли.

Ворвавшись в шалаш, мы закрыли вход камышовым шитком, забились под одеяло и лежали, почти не дыша до тех пор, пока не пришла мама. Нуртэч рассказала ей про того, похожего на человека. Мама, которая едва двигалась от усталости, взяла лопату.

— Ну-ка посмотрим, что за джинн такой! — и направилась к арыку.

Мы за ней. То самое стояло на прежнем месте. Мы остановились, не в силах сделать больше ни шагу, а мама не сменя подошла к «джинну» и огрела его лопа-

той, отчего он рассыпался. Мы с Нуртэч перевели наконец дух.

Какой-то подпасок от нечего делать или просто прохожий озорник собрал остатки кирпича, который здесь в прежние годы лепили, и сложил из них подобие человеческой фигуры. А мы-то... Джинн! Вот глупые!

Весь вечер при свете лампы мама вынимала из наших ног шипы и занозы.

После этого случая, уходя в село, она присылала вместо себя бабушку Садап.

Бабушка Садап слепая, но если она сидела в шалаше и крутила свое веретено, ничего страшного вокруг нас уже не было. Тем более, что наша вера в существование джиннов и прочей нечисти сильно поколебалась. Мы без помех предавались новому увлечению — объедались карамыком — есть такая ягода у нас в Туркмении. Мелкая, темно-фиолетовая, солоновато-сладкая на вкус. Мы готовы были есть ее с утра до вечера. Присядешь у облюбованного кустика и не встанешь, пока не оберешь. Конечно, руки, губы, языки у нас становились такого цвета, словно мы чернил напились.

Однажды мама вернулась усталая, как обычно, но чем-то очень довольная.

— Правду говорят, что свет не без добрых людей, — сказала она бабушке Садап, а потом за чаем объяснила, в чем дело.

Оказывается, сосед наш, Ходжамурад-ага, предложил ей, когда она сжала всю пшеницу: «Теперь иди к своим ребятишкам, и живите спокойно. Я твою пшеничку обмолочу, провею, смелю и муку привезу вам прямо к порогу».

Через неделю он действительно приехал и привез муку. Вместе с ним прибежал его пес Конгурджá.

— Как только дыни наберут сладость, вам житья не станет от шакалов, — сказал дед маме. — Одно спа-



сение — собака. Вот Конгурджа их близко не подпустит. Верно, мой хан?

Он привязал собачий поводок за колышек у входа в шалаш и бросил наземь небольшой мешок, сказав, что в нем ячменная мука псу на похлебку.

Мама угостила Ходжамурада-ага дыней вахарман, почти спелой. Доедая ломоть, дед взглянул на меня и спросил:

— Это что, та самая плакса?

От стыда я спряталась за мамину спину.

Потом Ходжамурад-ага сделал возле шалаша два навеса — дыни сушить, когда придет время.

Мама подана ему чай, заваренный Нуртэч. За чаем старик рассказывал о колхозных делах, главным образом о скоте: ночью он сторожил коров.

Неожиданно Ходжамурад-ага сказал:

— Если на бахче поддержать лето овечку, потом не хватит посуды, чтобы хранить ее мясо и сало. Возле наших дверей толчется одна ярочка-сиротка. Возьми-ка ее себе, Огульджерён, — рассчитаешься, когда жить станет попросторнее. А вторую овечку откорми для нас со старухой. Половина ее тоже, считай, твоя.

На следующий день, ни свет ни заря, мы все трое отправились в село и еще до полудня вернулись с овцами. Стеречь бахчу в наше отсутствие должен был Конгурджа.

Для овец мама устроила маленький загончик, и они разместились в нем по-хозяйски, словно тут и родились. А нам с Нуртэч стало гораздо веселей и уютней в обществе собаки и овец.

Комары по-прежнему ели нас поедом, поэтому едва стемнеет, мы забирались в шалаш и закрывали вход. Ночь наступила сразу. Только солнце скроется за горизонтом, как повсюду уже тьма кромешная. Сквозь дырки в стенах шалаша виднелись яркие звезды на черном небе. Мама как-то сказала, что у каждого человека есть своя звезда. Ложась спать, мы с Нуртэч ссорились, выбирая себе звезды.

— Чур, вон та — моя!

— Нет, моя!

Победителем оказывался тот, кто сумеет десять раз без запинки и не переводя дыхания повторить одну скороговорку. Не могу сейчас вспомнить слов, бессмыслица какая-то, помню только, что повторить ее десять раз подряд мне было не под силу, поэтому самая красивая звезда обычно доставалась Нуртэч. Распределив звезды, мы еще немного спорили о том, с какой стороны приходит сон, но ни разу не успели выяснить — засыпали.

Как-то, проснувшись поутру, Нуртэч сказала маме: — Мне приснилось сегодня, что Овез выстрелил в меня из лука.

Овез — это наш приятель.

Мама ответила:

-- Хороший сон. Наверное, твой отец скоро приедет, а Овез принесет весть об этом.

Настроение у нас весь день было чудесное. -

Прежде от отца приходили письма. Мама читала их и складывала в чемодан, где лежали отцовы вещи. Потом письма перестали приходить. Мамины глаза становились все печальнее. Она изводилась от беспокойства, хотя и не подавала виду. Мы с сестрой очень чутко улавливали ее настроение. Если мама радовалась, мы тоже радовались; если она грустила, мы готовы были хныкать из-за каждого пустяка. Поэтому мама при нас старалась казаться веселой. А в тот день, когда Нуртэч рассказала свой сон, она была по-настоящему весела.

Исполнилось предсказание дедушки Ходжамурада. Дыни день ото дня наливались сладостью, и возле бахчи появились шакалы. Как только спускалась тьма, они, мерзко завывая, подступали к нам со всех сторон. Конгурджа с угрожающим лаем кидался ту-



да, где шакалы визжали особенно громко. Трусливая свора удирала, но другие, в противоположном конце, наггели. Они шуршали камышом в сухом арыке, подходили совсем близко к шалашу. Бедные овцы начинали метаться по загончику. Мама сердито кричала: «Кош!»—и тут подоспевал неугомонный Конгурджа и отгонял шакалов. Всю ночь носился он по большущей бахче. Не мудрено, что утром, когда вставали мы, пес спал, обессиленный. Он честно отработывал свою похлебку.

Из-за шакальих концертов мы с Нуртэч несколько ночей не могли уснуть. Нам казалось, что они вот-вот заберутся в шалаш. Мама успокаивала нас, долго не ложилась, не гасила лампу, сидела и пряла, как будто вокруг ничего не происходило. О том, что шакалы будут нападать на бахчу, она знала заранее. Оказывается, они с отцом два лета перед войной охраняли бахчу. Постепенно мы привыкли и спали так же крепко, как прежде.

Однажды на меня напала бессонница. Не от сграха, а просто днем выпалась. Нуртэч уже давно посапывала, а у меня глаза никак не закрывались. На бахче шла обычная возня: Конгурджа гонял шакалов.

Смотрю, мама встала и вышла, и тут же послышался задорный ее голос:

— Хай куш-куш, Конгурбэй, дави их!

Точно так кричат мальчишки, стравливая собак. Притихший было пес залаял громче и воинственней. Значит, не только шакалы и Конгурджа не спят по ночам, но и мама тоже...

Дыни начали созреть, и работы опять стало хоть отбавляй. Теперь мама не всякий даже день отпускала нас выкупаться.

— Дыни — это готовая и очень полезная пища,— говорила она.—Если не собирать их вовремя, они полопаются и начнут гнить.

Особенно часто дыни лопались по ночам. Мама

уверяла: если кругом тихо, можно слышать, как они с треском раскалываются. Не убрать такую дыню сразу—она испортится. Пакостили понемногу и шакалы, несмотря на бдительность Конгурджи. Словом, нужно было поторапливаться, чтобы сберечь то, что выросло.

Нуртэч, закатав рукава, работала очень споро, почти наравне с мамой. А от меня пользы, конечно, не много было, хоть я и старалась от сестры не отставать.

Проснешься утром, а мама уже ходит по бахче, срывает треснувшие дыни. Мы начинаем перетаскивать их к шалашу. Сестра кладет в мешок по четыре, а я только по две—больше не дотащу. Мама наполняет своей мешок почти доверху, взваливает на спину и идет, согнувшись, к навесу. Смотрела я, смотрела и решила носить по три штуки. Протащила полпути и уронила. Дыни, которые и без того готовы были лопнуть от распиравшей их тугой силы, разлетелись на куски. Я—в рев.

— Что случилось?—спрашивает издали мама.

— Дыни уби-ились!

Мама рассмеялась. Никогда прежде не слышала, чтобы она смеялась так звонко. Захохотала и Нуртэч.

— Надо говорить «разбились»!—сквозь смех поправила она меня.

Глядя на них, я тоже стала смеяться хотя не очень-то поняла, в чем дело.

До полудня мы успевали перетащить к шалашу все сорванные дыни. В полдень пили чай. Потом мама и Нуртэч резали дыни ломтиками. Я укладывала ломтики под навесом сушить, вчерашние и позавчерашние подвешивала на веревку. Закончив резать, мама и Нуртэч сплетали косички из того, что сушилось уже больше трех дней. Руки и лица у нас все время были вымазаны сладким липким дынным соком.

Так мы расправлялись с треснувшими и повреж-

дешными дынями. Целенькие складывали штабелем под навесом, потом их выдавали колхозникам на трудные или же увозили на продажу.

На нашем с сестрой попечении была еще фасоль. За ней тоже нужен глаз да глаз. Чуть зазеваешься—она осыплется. Мы собирали фасоль через день. Подвяжемся фартуками и складываем в них набухшие стручки. Мама сушила их, шелушила, провсывала и сыпала в мешки.

Как-то раз мама послала нас в село. Нужно было привезти кислое молоко для лапши. Мы поехали на ишак и взяли с собой целый хурджин дынь в подарок бабушке Садап. Нуртэч села впереди, в седло, а меня мама посадила сзади, подложив для мягкости сложенный вчетверо мешок. Но только мы отъехали, мешок из-под меня выскользнул. Нуртэч успела подхватить его на лету и сунула в торбу.

Ишак шел рысью, спина у него была тощая, торчали жесткие, как камни, мослы. Каково мне было трястись на них! Я вцепилась в платье сестры и еле сдерживалась, чтобы голос не подать.

Наконец село завиднелось. Оно было знакомое и в то же время какое-то непривычное. Сначала мы разглядели двойную, с галерейкой посредине, мазанку Силапа, потом четче обозначились другие мазанки. Наш домик показался мне самым маленьким и невзрачным.

Перед отъездом на бахчу мама скатала все кошмы, спрятала постели. Гельнедже Бибиджемал была на работе, поэтому мы заехали к соседке Огульбостан-эдже. У нее сидела бабушка Садап.

— Прибыли?—сказала она.—А я как раз думаю: сегодня к вам пойти или завтра?—и засмеялась. Потом говорит: — А ваш отец приедет осенью, когда хлопок побелеет. Передайте это матери, пусть готовит подарок за добрую весть!—и снова засмеялась.

В село забрела какая-то женщина, она назвалась

гадалкой. Бабушка Садап спросила у нее, когда вернутся с фронта ее внук и наш отец. Женщина посмотрела в зеркало (может быть, в оконное стекло, это все равно) и торжественно объявила:

— Твой внук виден далековато. Зато сосед придет, когда побелеет хлопок.

Бабушка Садап поверила и на радостях отдала гадалке все деньги, которые у нее при себе были.

Нам не терпелось свидеться со своими друзьями. Мы побежали к ребятишкам, за которыми «присматривала» Нургозель. Они нам обрадовались не меньше, чем мы им. Каких только игр мы не затевали! Купались, бегали, шуму было на все село. До самого отъезда друзья не отходили от нас.

В обратный путь мы отправились, когда солнце уже перевалило за полдень. Как доехали, Нуртэч первым делом передала маме известие бабушки Садап. Вопреки нашему ожиданию, мама выслушала его без особой радости; наверное, не поверила гадалке. Постелив кошму у входа в шалаш, она стала раскатывать тесто для лапши. Нуртэч в это время кипятила воду в казане. Мы бросили туда две пригоршни недозрелой фасоли. Фасоль, хоть и недозрелую, нужно класть раньше лапши, а то не успеет свариться.

Наелись в тот раз так, что животы у нас вздулись. Кончив, все трое прилегли там, где сидели. Но верно говорят: «Лапшою будешь сыт, пока от порога дойдешь до дальней стенки дома». Очень скоро мы опять почувствовали голод.

Вечером к нам пожаловал гость. Нуртэч уже спала. Мама при свете керосиновой лампы шила для нее платье из красного ситца. Конгурджа где-то вдалеке сипло лаял на шакалов. Я начала задремывать, как вдруг послышался скрип арбы. Кто-то голосом дедушки Ходжамурада сказал «дырт», лошадь стала, и приехавший согнувшись вошел в шалаш. Это и был Ходжамурад-ага—он за дынями приехал. Дедушка поз-

дорвался с мамой, спросил, как жизнь, как самочувствие, как мы.

Мама подала ему половинку дыни и нож. Нарезая дыню, Ходжамурад-ага стал ругать председателя.

— Только и знает: давай, давай! А работать не умеет, — сетовал дедушка Ходжамурад. — Если слушаться этого глупца, хозяйство развалим. Весной ему говорили: у пятой бригады земли истощенные. Лучше распахать новый участок здесь вот, возле бахчи. Нет, уперся. Транспорта, дескать, нету, чтобы возить сюда людей. И велел сеять на прежнем месте. Теперь хлопок никак не может в рост пойти, и сорняки его душат. Вот посмотришь, ничего с того участка не получим. Зря только семена и труд затратили. Подумаешь, транспорта нет! Да каждый согласился бы на своем осле сюда добираться, лишь бы толк был, лишь бы не зря работать. А этот свое заладил: «Ничего не хочу знать, ничего не хочу слушать!»

Ходжамурад-ага стал вспоминать председателя, ушедшего на войну. Вот человек так человек. Внимательный, заботливый, работающий. И в хозяйстве понимал, как никто другой...

Я слушала, слушала да нечаянно села в постели.

— Аю, плакса, не спишь? — сказал мне дед. — Побрить голову?

Я тут же юркнула под одеяло.

Отведя немного душу, дедушка пошел на бахчу. У входа в шалаш его поджидал Конгурджа. Он стал ластиться к хозяину, прижиматься к его ногам.

— Ну, ну, расчувствовался, — говорил Ходжамурад-ага. — Довольно, хватит, пошел!

А сам все теребил ему уши.

Складывая на арбу собранные дыни, дедушка спросил у мамы, в каком состоянии бахча. Мама сказала, что в хорошем, но все мы очень устаем.

— В добрые времена с таким делом и четверо мужчин не справились бы, — вздохнув, согласился Ходжа-

мурад-ага. — Но нынче, видно, кроме тебя, дочка, никому здесь работать. Уж постарайся сохранить что можно. Нынешняя зима плохая будет, и дыни твои большим подспорьем окажутся для колхозников. Стану посвободнее — приеду, помогу, — добавил он.

— Все бы ничего, — сказала мама, — управились бы как-нибудь сами. Но подходит время тошáп варить и сёк. Понадобится много топлива. Хорошо, если кто-нибудь нарубит побольше колючки.

Под удаляющийся скрип арбы я заснула. Наутро первым человеком, которого увидела, был все тот же дедушка Ходжамурад. Он приехал рубить колючку.

В конце июля два дня подряд дул жгучий ветер. Все вокруг высохло и потрескивало, словно сгорало в пламени. Нигде нельзя было найти успокоения — ни в шалаше, ни в воде. Правда, и времени не было, чтобы отсиживаться в шалаше или в воде.

Конгурджа лежал в зарослях камыша, припав всем телом к влажной земле, и тяжело дышал, язык на сторону. А мы таскали дыни. Когда садились за полуденный чай, все косточки уже ныли от усталости и голова раскалывалась от зноя. Но после чая снова принимались за дело. Меня мама не очень нагружала; она надеялась в основном на помощь Нуртэч. И сестра, хоть и уставала смертельно, работу не бросала. Я уходила посидеть в тени, но скоро возвращалась: одной было скучно.

Мама говорила:

— Эта жара оттого, что всходит звезда Ялдырак.¹ Вот дать сейчас дыням воды — большая им польза была бы. Когда Ялдырак взойдет, вода уже не нужна, тогда прохладней станет.

¹ Ялдырак — Сириус (буквально: Сверкающий).

Бахчу поливали редко, а теперь и вовсе перекрыли арык. На просьбы мамы дать еще один полив, отвечали, что вода нужнее хлопчатнику.

После суховея много листьев на дынных и тыквенных плетях посохло. Лишь терпеливый арбуз держался молодцом. Мама снова пошла к мирабу—он распределяет воду, — и тот прислал наконец поливальщика. В полдень пришел еще один. Не столько поливать бахчу, сколько дыней полакомиться. У него для полива другой участок — хлопковое поле за арыком.

Оба поливальщика были седые. Мама называла их почтительно яшулй. Но когда пришло время отдыха, мы не смогли пригласить их в шалаш: там еле хватало места для нас троих. Поливальщики воткнули в землю лопаты, набросили на них свои халаты, в образовавшейся малой тени поели дыни с хлебом и прилегли отдохнуть.

Жара пошла на убыль. Значит, осень приближается. На колючке появились семена, тростник выбросил серовато-желтые метелки. Ветерок трепал их, и в воздухе носился пух. Хлопок за арыком сплошь покрылся желтыми цветами, а если подойти поближе, можно было увидеть тугие зеленые коробочки. Некоторые из них уже раскрылись. По утрам выпадала роса, небо было ясным-ясным. Мне казалось, что надо мной перевернут огромный казан из синего стекла.

Мы любили класть в жар утреннего костра стручки молочной фасоли. Вкусно получается. Но наша беспокойная мама, наскоро попив чаю, уходила, а без нее засиживаться у костра было неинтересно. Так что печеной фасолью мы не часто лакомились.

Из переспелых дынь варим сёк. Сейчас расскажу, что это такое. Дынную мякоть, нарезав, кладут в казан и кипятят на медленном огне, пока она не загустеет и не станет похожей на повидло. Тогда в казан сыпят

поджаренную муку (иногда добавляют еще кунжутные зерна).

Полмешка муки нам специально для сёка привезли с колхозного склада. Мама жарила ее и смешивала с дынной кашей, а мы с Нуртэч ложками раскладывали смесь на доске. Высохнет — вот и сёк. Конфеты.

Из арбузов делали тошап. Его готовить гораздо труднее. В эти дни к нам на помощь приезжала Огульбостап-эдже.

Арбуз разрезают пополам, выбирают все семечки, потом выскабливают мякоть специальной ложкой. Кашница, прежде чем ее вывалят в казан, пропускается через сито. Если сита нет под руками, можно в пустой арбузной половинке сделать вырез, положить туда мытую колючку и процеживать сквозь нее.

От этой работы я изнемогала еще и потому, что пробовала по кусочку от каждого из разрезанных, красных, как раскаленные угли, арбузов. Живот у меня раздувался словно пузырь, я нагнуться не могла. А потом появлялся зверский аппетит. Огульбостап-эдже говорила про арбуз:

— Целебная это вещь, быть бы мне ее жертвой. Только семечки немножко вредны. Рассказывают, что в давние времена ходили по селам два таби́ба и лечили людей. Пришли в одно село. Смотрят, а вокруг раскинулись бахчи. Започевали у хозяина бахчей. Он угостил их арбузом. Один табиб сказал: «Раз их пища арбузы, нам здесь делать нечего». Другой возразил: «Семечки-то у арбузов вредные — останемся, найдется для нас дело».

У Нуртэч были заботы поважней моих. Кипятить тошап надо очень долго. Проходило двенадцать-тринадцать часов, прежде чем бурлящая красная жидкость превращалась в густую тягучую массу темнокоричневого цвета — арбузный мед. Единственным топливом были жиденькие кусты колючки, поэтому сестра целыми днями сидела у очага с кочережкой в руках.

Ночи стали холодными. Мама по несколько раз вставала укрыть нас одеялом. И все-таки я простыла. Проснулась утром — голова болит и горло тоже и глаза слезятся.

Мама повязала мне платок, потом принесла травку — «лекарство от ста болезней», подожгла ее и велела нюхать дым. Немного вроде полегчало. В полдень она накормила меня горячей, густо наперченной лапшой и уложила в постель. Вскоре я и думать забыла про болезнь.

За сентябрь мы управились с летними дынями и вздохнули облегченно. Полегче стала жизнь и у товарища нашего — Конгурджи.

На помосте, сделанном дедушкой Ходжамурадом, высились груды коричневато-желтой сушеной дыни, похожие на лежащих верблюдов.

Тошан, мешки с фасолью и сёком увезли на склад. На бахче остались только поздние дыни, тыквы и зеленые дыньки, появившиеся после второго полива. Их мы тоже срывали и складывали у шалаша: ведь не сегодня-завтра морозец ударит.

Собирая в тростниках тыквы, мама приговаривала: — Боже мой, как будто во исполнение желаний — столько всего уродилось, столько всего...

В самом деле, тыкв было полным-полно. Часто попадались такие огромные, что нам с Нуртэч и не поднять было, разве только маме.

Поля побелели. С утра до темноты колхозники собирали хлопок.

Если верить гадалке, приближалось время, когда должен приехать отец. Но он не ехал и писем не слал.

Мама совсем загоревала и уже не притворялась веселой. Однако к работе она не охладела.

Однажды нам попался длинный-длинный белый арбуз.

— Съедем, когда отец ваш придет, — сказала мама и отнесла его в шалаш.



Наконец приехала арба. Мама заставила погрузить на нее не только все вещи, но и овец.

В середине октября подморозило, но как раз накануне мы успели собрать с бахчи все до последней дыньки, сложить в кучу и укрыть хворостом.

На следующий день к нашему шалашу съехалось множество колхозников с мешками. Они расхватывали дыни и арбузы, а тыквы и сушеную дыню забрали на склад. Вместе с тошапом и сёком их будут как премию выдавать тем колхозникам, которые соберут много хлопка.

Наутро после морозной ночи я не заметила ничего особенного. Вроде ничего и не переменялось. Но когда солнце поднялось повыше, зеленые делянки вдруг прямо на глазах почернели, ветер принес странный, незнакомый запах побитых морозом растений.

Пришло время возвращаться в село. В ожидании арбы мама стала увязывать наши пожитки. Мной овладела тоска. Я ни с кем не хотела разговаривать, только смотрела вокруг, и было грустно оттого, что я не увижу больше арыка, тростниковых зарослей, тропинки, по которой бегала за водой, знакомых грядок. Не буду больше по ночам высматривать сквозь щелочку в шалаше свою звезду на небе...

Нуртэч и мама тоже молчали. И тишина стояла вокруг — в ушах звенит. Потом какие-то птички пролетели над нами; они кричали, и голоса у них были чистые-чистые.

Наконец приехала арба. Мама заставила погрузить на нее не только все вещи, но и овец. Груз получился внушительный.

— Хорошо, если лошадь потянет! — ворчал арбакеш — возчик.

Меня мама посадила на арбу, поверх всей поклажи, а сама села на ишака. И Нуртэч с ней. Сестра молча негодовала на то, что честь ехать с арбакешем предложена мне, младшей. Она так сердито поглядывала на меня, словно я нанесла ей кровную обиду.

Рядом с арбой бежал Конгурджа. Сюда его привели на поводке, а домой он мчался сам, вприпрыжку. Как только добрались до села, он направился к мазанке дедушки Ходжамурада и лег у порога.

— А, это ты пришел, мой Конгурджа! — послышался ласковый голос Огульбостан-эдже.

Овцы, которых выкормили на бахче, были жирные-прежирные. Сначала мы рвали для них молоденькую травку на хлопковом поле за арыком. Оказывается, овцам нельзя сразу давать тяжелую пищу — они могут заболеть. Позже мама стала кормить их арбузными и дышными корками, подмешивая муку. Утром и вечером они получали еще дынные семечки. Особенно много корму мама задавала на ночь: в прохладное время суток у овец аппетит лучше.

По мнению мамы, с овцами надо обращаться очень осторожно, если хочешь, чтобы они раздобрели. Нельзя бегать возле них, когда они лежат, и даже подходить к ним в такое время не стоит: они пугаются, вскакивают и теряют вес. Когда задаешь овцам корм, ни в коем случае нельзя кричать на них, наоборот, говори с ними тихо, мягко.

— Скотина по глазам хозяина видит, с душой он за ней ухаживает или нет, — сказала мама и вспомнила притчу.

Давным-давно одна женщина откармливала двух овец, свою и чужую. Через малый срок ее овца начала тучнеть, а чужая оставалась худой, хотя кормили их одинаково.

«Что с тобой?» — спросил худую овцу человек, знающий язык животных.

«Эта женщина, прежде чем спать лечь, смотрит на свою овечку», — обиженно ответила та.

С тех пор и пошла поговорка: «Взглядом хозяина скотина жажду утоляет».

Нуртэч смеялась и говорила:

— Значит, овечка дедушки Ходжамурада останется худой.

Но овцы были одна к одной. Обе норовили лечь, потому что еле носили курдюки.

СКАЗКИ БАБУШКИ САДАП

Как вернулись мы в село, мама снова стала работать в поле. Хлопок к тому времени был уже снят, остались только нераскрывшиеся коробочки — курёк. Собирать его и ходила мама, а нас отправляла к Нургозель.

Наша воспитательница осталась верна своему правилу: несмотря на холод — стояли последние дни осени, — с утра пораньше выгоняла нас на улицу. Мы садились с подветренной стороны мазанки, на солнышке, и ждали, чтобы воздух нагрелся. Только с полудня, когда становилось теплее, начинали свои игры.

Пожалуй, пора рассказать о товарищах по играм, о ребятишках, за которыми «смотрела» Нургозель.

Кроме нас, приводили к ней Энеджан, девочку четырех лет, по прозвищу Рёвушка. Щеки у нее были вровень с носом, глаз почти не видно; чуть что — она принималась плакать, за это и получила прозвище. Отец ее, как и наш, ушел на войну, мать, Солтангозель, была стройной молодой женщиной с гранатовым румянцем на лице. Про нее говорили, что в колхозе она работает за двоих, но дом свой содержит в беспорядке.

Замуж она вышла перед войной. Солтангозель каждый день утром и вечером ходила за водой мимо дома Акы, и он всегда был тут как тут, у окна. встречал и провожал ее взглядом. Когда Солтангозель хотели выдать за кого-то, она заявила отцу с матерью: «Выйду только за Акы». Родители не стали ей перечить.

Овез был ровесником Нуртэч или на год постарше. Выдумщик, каких свет не видел. Его буйная фантазия

не знала удержу. Даже рассказывая о том, что случилось на самом деле, он ухитрялся все так переначить, что становилось похоже на сказку. Мы слушали его разинув рты. Мы вообще были во всем ему послушны.

За Овезом хвостиком бегала его сестренка Хурма. Еще у нас были друзья Агамурад, Аннабиби и Джемал. Из всех только у Аннабиби отец остался дома: туберкулезный.

Выдался особенно холодный ветреный день. Мы нахохлившись сидели под стеной. Слышно было, как в доме Нургозель гудит затопленная печь.

Вдруг Овез предложил:

— Можно поджечь тростник и погреться.

— Надо спички раздобыть, — сказал Агамурад.

— Уже сделано, хан.

Мы побежали к арыку. По утрам выпадал иней, поэтому тростник был сырой, поджечь его долго не удавалось. Наконец он загорелся, пламя взметнулось к небу. Мы отодвинулись подальше и только руки протягивали к огню.

— Паленым пахнет, тряпкой горелой! — закричала вдруг Нуртэч.

Мы стали осматривать свои халаты и обнаружили, что тает пола повесьного стеганого халата Энеджан. Девочки стали плевать на горелое место и тереть его, а Энеджан заплакала.

— Вечером мама увидит и побьет, — говорила она и лила, лила слезы.

Целый день мы ее успокаивали и утешали.

Как-то утром Нургозель сунула в руки моей сестре, ведро и велела сходить на склад.

— Там будет дядя Силап, он кое-что тебе даст. Возьмешь и принесешь сюда.

Нуртэч пошла. Я за ней.

— А ты куда? — крикнула Нургозель. — Ну-ка вернись!

Еще чего! И не подумаю.

От нашего порядка до склада с полкилометра. Мы перебрались по мостику через арык, долго шли по узкой извилистой тропинке, потом по широкой прямой улице и наконец оказались в центре села. Здесь разместились правление колхоза, сельсовет, склад и школа. Вокруг школьного здания с криками носились ученики: была перемена.

Силап взял у нас ведро, потом вынес завязанное поверху красным платком. Ведро сделалось тяжеленным. Мы потащили его вдвоем, но все равно через каждые пять шагов останавливались передохнуть.

— Давай посмотрим, что там такое, — сказала Нуртэч во время очередной остановки.

— Давай! — обрадовалась я, потому что изнывала от любопытства.

Нуртэч зубами развязала узел платка. В ведре, наполненном до краев, был тошاپ. Тот самый тошاپ, который мы, обливаясь потом, обдираясь о колючку, варили летом, уверенные, что его как премию будут давать лучшим сборщикам хлопка. Перед глазами у меня появилась мама. Согнувшись в три погибели, тащит она мешок с арбузами. А Нуртэч сидит на корточках перед очагом и набивает его колючкой. Лицо у нее серое от пота и золы. А старая Огульбостан скоблит и скоблит до ломоты в плечах арбузную мякоть...

Мы обмакнули в тошاپ пальцы и облизали. Какой он сладкий!

В гости к Нургозель приехала сестра. Нургозель угощала ее нашим тошапом. В этот день мама и другие работали недалеко от дома, поэтому воспитательница не выгнала нас на улицу, пока не потеплело. Сестра пила чай, а Нургозель подошла к окошку, увидела женщин в поле и говорит:

— Вах-эй, как они не помрут от такой работы...

Сестра удивленно взглянула на нее.

— Нужда заставит — и ты будешь так же спину гнуть.

— Ну уж нет! — засмеялась Нургозель.

После этого, кроме «хм» и «хум», она ничего не могла добиться от сестры. Да та вскоре и домой засобиравлась. Нургозель с сынишкой на руках вышли ее проводить.

— Осталась бы ночевать, мы ведь толком не поговорили даже, — просила она.

— В другой раз. Сегодня я заехала только справиться о вашем здоровье, — отвечала сестра.

Изгнанные, как обычно, на улицу, мы с гомоном проходили мимо мазанки бабушки Садап. Она вышла на шум и позвала нас:

— Идите-ка сюда!

Мы вошли в дом. Овез первый, остальные за ним.

Бабушка Садап доводилась нам дальней родственницей. Раньше она жила с внуком, но незадолго до нашего отъезда на бахчу его забрали в армию, и старушка осталась одна.

Внука звали Мамед. Перед отправкой на фронт он пас коров. Когда мы приходили к нему, он делал нам дудочки из камыша. Никто из нас не считал его взрослым. С такими, как Овез, он держался ровней.

Я слышала, женщины говорили:

— Мамед еще совсем мальчик. Он попал на фронт вместо Силапа. Не сказал, что ему мало лет, ну его и взяли.

У бабушки Садап был когда-то единственный сын. Она его женила, дождалась внука, но на том и кончилось счастье. Сын заболел и умер, сноха посидела вдовой года три и решила уйти.

— Раз решила — уходи, — сказала ей свекровь, — только оставь мне внучонка. У тебя еще будут дети, а у меня уж никого.

И сноха ушла, оставив Мамеда.

Об одежде и пропитании самой бабушки заботилась наша мама. Бабушка в долгу не оставалась. К зиме мы все получали шерстяные носки и варежки.

Не помню, чтобы она когда-нибудь жаловалась; наоборот, когда ни взглянешь на эту старую слепую женщину, она что-то напевает себе под нос и руки у нее обязательно заняты делом. Часто бабушка Садап говорила:

— Кончится война, вернется мой внук — я устрою той. Три дня будем пировать.

Мама шутя называла бабушку Садап шахиром — поэтом, значит. В нашем порядке любили вспоминать такой случай. До войны многие женщины ткали ковры. Советала назначили наблюдать за их работой, и он, хоть ни капельки в этом деле не смыслил, стал давать мастерицам указания. Им это надоело, и они попросили бабушку Садап сочинить про него стишок позабористой. Так появились на свет строчки, знакомые теперь всему селу:

Силап-мастак, И нам бы не прожить
Ни дня спокойно без его надзора.
Одна беда — не может отличить
Он край ковра от самого узора.

Бабушка Садап никогда не расставалась с прялкой. Из ее пряжи вязали носки, варежки, шарфы, портянки для тех, кто воевал. Женщины говорили:

— Садап хочет своей прялкой немца одолеть.

Во время войны еще не было ворохоочистителей. Собранный за день курек колхозники приносили домой и очищали вручную.

Торопясь выполнить план, бригадир принес два мешка и бабушке Садап. Она как раз собиралась чистить курек, когда мы пришли.

Пол в комнате был застелен выцветшими кошмами, в переднем углу стоял старый облезлый шкаф, на

нем аккуратной стопкой лежали одеяла. Два маленьких окошка плохо пропускали свет, особенно если небо затянуло тучами, и в мазанке было темно. Но зато тепло. Посреди комнаты стояла железная печка, в ней горел черкез.

Дрова бабушке доставляли тимуровцы. Они же летом оштукатурили ее мазанку.

Ни слова не говоря, мы расселись вокруг печки. Бабушка предложила:

— Хотите, вместе почистим курек? Это будет ваша помощь фронту. А я вам тем временем сказку расскажу. Только пусть каждый складывает свой хлопок отдельно. Мы потом определим, кто как работает, кто действительно хочет помочь своему отцу и другим фронтовикам.

Мы положили перед собой горки шуршащих коробочек, бабушка Садап начала сказку, и время полетело. Когда и как были прикончены оба мешка, никто из нас не заметил. Бабушка проверила нашу работу и каждому воздала по заслугам, не забыв учесть и возраст работников.

С того дня все только и ждали, чтобы Нургозель сказала «идите играть». Не мешкая являлись мы к бабушке Садап, душили курек и слушали сказки. Даже самые отчаянные непоседы забыли, что еще недавно любили бегать и скакать. Бабушка рассказывала нам и о наших отцах. Мы плохо помнили их или вовсе не помнили, как Энеджан и я. А она говорила о них так, словно все они были ее сыновьями. Внешность описывала, характер, привычки, вспоминала разные случаи из их жизни, и мы любили отцов и гордились ими.

А как стремились все заслужить одобрение бабушки Садап, с какой радостью брались за чистку курика! И любая работа была в удовольствие, если потом нас ожидала ее справедливая похвала. Сейчас я понимаю: старая Садап была мудрым педагогом,

Именно она стала нашей первой воспитательницей, и трудодни, которые начисляли за нас Нургозель, по праву принадлежали ей.

О том, что на свете жили великие поэты Махтумкули и Кеминне, мы впервые узнали от бабушки Садап. От нее мы услышали множество туркменских сказок, остроты знаменитого узбекского поэта Навои и любимого героя восточных анекдотов Ходжи Насреддина. Убогая темная мазанка этой слепой старушки была настоящей школой для нас.

Я перескажу несколько сказок бабушки Садап, тем более что ни от кого другого их больше не слышала.

МУДРЫЙ ЛЕКАРЬ И ЖЕСТОКИЙ ХАН

В незапамятные времена жил искусный лекарь. Не было такой болезни, которую он не мог бы вылечить с помощью трав. Народ почитал этого лекаря как святого.

Хан, завидуя его славе, приказал бросить лекаря в темницу и даже имени его не произносить.

И вдруг правитель попал в беду. Подавился костью. Кость застряла в горле—ни туда, ни сюда, у хана глаза на лоб вылезли, а никто не может ему помочь. Наконец какой-то слуга осмелился:

— Не вели казнить, светлейший хан, за то, что я тебе скажу.

Хан сделал знак: говори, говори скорее!

— Я знаю, кто тебе поможет: лекарь, которого ты посадил в темницу.

Жестами хан велел привести лекаря во дворец. Тот пришел, заглянул в ханское горло и сказал, что случай невероятно тяжелый и имеется только одно средство спасти пострадавшего.

Хан в нетерпении: какое же?

— У тебя есть сын. Его кровь спасет тебя, хан. Прикажи обезглавить юношу. Не медли, иначе ты умрешь.

Придворные содрогнулись, услышав такие слова, но хан думал недолго. Он быстро нашел себе оправдание: «Сын еще молод, и, если я умру, он не сумеет управлять страной».

Привели юношу. Чтобы отец не видел, как убивают сына, хану завязали глаза. И вот в ханское горло полилась горячая кровь. Уверенный, что это кровь сына, хан судорожно вздохнул или застонал: «Ах!»—и от этого кость выскочила.

Когда сняли повязку, он увидел, что сын стоит возле него живой и невредимый, а на полу валяется убитый козленок. На радостях хан не только освободил своего спасителя, но велел щедро наградить его. Однако лекарь не стал дожидаться награды: он потихоньку ушел из дворца, к своим травам.

Народ узнал об этом случае и еще раз подивился мудрости лекаря и бессердечию хана.



О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ПОНИМАЛ ПТИЧИЙ ЯЗЫК

Разорив соседнюю страну, лютый падишах пригнал оттуда много пленных. Когда кончился пир в честь победы, падишах стал вызывать пленников и спрашивать у каждого, что тот умеет делать. Если ремесло казалось ему полезным, он оставлял человеку жизнь, если нет—приказывал казнить. Наконец пришла очередь щуплого низкорослого человека. «Экий заморыш»,—поморщился падишах, но все же спросил:

— Что ты умеешь делать?

— Я понимаю язык птиц,—ответил человек.

Его не убили.

Оставленные в живых пленники работали от зари до зари, а маленький щуплый человек ничего не делал, только пил, ел да спал. Но вот захотелось падишаху покорить еще одну страну, и он снова повел в поход свое войско. Человека, понимавшего язык птиц, падишах взял с собой. По дороге он увидел двух филинов. Они сидели на дереве друг против друга и, похоже, разговаривали. Один крикнет, другой ответит.

— О чем говорят? — спросил падишах у щуплого человека.

Тот прислушался и перевел:

— Филин справа сказал левому: «Давай породнимся». Левый ответил: «Я бы с тобой породнился, но ты бедный. Если отдам дочь за твоего сына, ей и жить будет негде». А правый говорит: «Вон падишах гонит войско, хочет захватить наши земли. Он перебьет всех людей, а жилища их превратит в развалины. Тогда и у меня будет свой дом, да не один». И назвал, государь, твое имя.

Выслушал все это падишах, некоторое время ехал молча, а потом приказал своим воинам поворачивать назад.

«А Я НЕ ОПОЗОРИЛСЯ!»

Один человек с давних пор промышлял воровством. Все об этом знали, но никак не могли поймать его с поличным. Наконец он попался. Сначала хотели убить негодяю, но потом решили, что позор страшнее смерти.

Раздели его, вымазали сажей, посадили задом наперед на пшак и целый день возили по улицам. Только к вечеру отпустили. Вор пришел домой и говорит жене:

— Уж так хотели меня опозорить, уж так хотели, чего только не делали, а я не опозорился!

Вот такие сказки слушали мы, очищая курек. Рассказчица наша время от времени, положив в печку немного растопки, насыпала сверху ворох сухой кожуры, и огонь начинал весело гудеть. В мазанке становилось еще уютнее.

Но все на свете имеет конец, кончился и курек. Бабушка Садап больше не засиживалась дома. Прихватив свою прялку, она уходила к какой-нибудь соседке. А мы скучали без нее.

Однажды Овез сказал:

— Интересно, по вечерам бабушка Садап зажигает лампу или нет?

Я понял, что последние дни он только о ней и думал.

— А для чего ей лампа, ведь ей все равно, что день, что ночь, — ответил Агамурад.

Мы решили проведать бабушку Садап вечером. Нет, она не зажигала лампу.

— Вот война кончится, все переедут в новый поселок. Проведут ли электричество бабушке Садап? — спросил Агамурад.

— Конечно, проведут, — сейчас же откликнулся Овез, — к ней ведь внук вернется. — Потом, неожидан-

но предложил:—Давайте спросим у нее, как она ослепла.

Удивительно, до чего безжалостными могут быть дети. Как будто нельзя, раз уж одолело любопытство, спросить у кого-нибудь другого!

Задать вопрос должен был Овез. Так уж повелось — самое трудное он брал на себя. Мы ввалились в домик бабушки Садап, но дальше порога не пошли, чувствуя небывалое стеснение. Наконец Овез решился:

— Бабуся, ай бабуся! Когда твои глаза сделались незрячими?

Мы перестали дышать. Были уверены, что она рассердится и прогонит нас. Но такие люди, как бабушка Садап, оказывается, выше гнева.

— Недавно я ослепла, — ответила она. — Тебе годик был, Овез-джан, когда меня свалила тяжелая болезнь. Болезнь и сделала глаза мои пустыми, а уши тяжелыми.

Тут только мы узнали, что бабушка Садап еще и глуховата.

— Если бы не война проклятая, — продолжала она, — я бы съездила в Ашхабад, там доктора открыли бы мне глаза.

Чужой человек никогда не подумает, что бабушка Садап слепая. Глаза у нее, хоть и не видят, ясные, большие. В молодости она, говорят, была красивая.

Рассказывают такой случай. Один богатый человек женил сына. Надев на невесту все, что можно было надеть, нацепив на нее все, какие были, украшения, женщины, и сами разряженные, усадили ее на верблюда и повезли к жениху. Бабушку Садап выдали замуж в бедный дом; у нее, кроме платья из домотканого полотна, ничего не было. В своем простеньком платьице она пришла посмотреть на свадебный поезд. Вдруг какая-то старуха громко сказала невесте и сопровождавшим ее нарядным женщинам: «Всех вас

надо продать, а вырученные деньги отдать вон той красавице!» — и ткнула пальцем в Садап...

Возле Ходжамурадова дома мы однажды увидели белого ослика. Он дремал в загончике, под лучами солнца. Овез решил, что не худо бы на этом ослике покататься, и отвязал его.

— Держите крепко, пока я буду садиться! — приказал он.

Мы вцепились в ослика, но едва Овез сел ему на спину, как тот стал отчаянно брыкаться и раскидал нас в разные стороны. Потом строптивый ишачок резко вскинул круп и сбросил седока на землю. Этого ему показалось мало. Он еще как следует лягнул Овеза и только тогда удрал. Все произошло очень быстро. Мы не успели сообразить, что к чему, а наш атаман уже валялся в пыли, и у него из-за уха сочилась кровь.

Плач Овеза не привлек внимания Нургозель, зато вышла бабушка Садап и спросила, что у нас случилось.

— Ишачок лягнул Овеза, у него кровь идет из головы, — ответила Нуртэч.

— Ведите его сюда.

Бабушка Садап помазала тряпочку сажей с казана и приложила к ранке, потом перевязала голову Овеза, дала ему подушку и сказала:

— Приляг, сынок, полежи.

Через несколько дней у него за ухом, в том месте, куда пришелся удар, чернел лишь маленький шрам.

ПУСТЫНЯ ГРЕЕТ И КОРМИТ

Хлопок собрали, выкорчевали кусты хлопчатника. Колхозники разобрали их на дрова (одну арбу сгрузили у мазанки бабушки Садап) и занялись подготовкой к новому сезону.

Как и прежде, мы каждое утро отправлялись к

Нургозель. Нуртэч нянчилась с малышом, уставала и чуть не плакала.

— Я совсем измучилась. Как будто никто, кроме меня, не умеет качать эту люльку. Вечно меня заставляет, — жаловалась сестра.

— Ты делаешь это лучше других, вот она и заставляет. Качай так, чтоб ее сын орал побольше — сразу от тебя отвяжется! — посоветовал Овез.

Дома Нуртэч стала упрашивать маму:

— Не посылай нас больше к этой тетке. Она все время велит мне качать люльку.

Мама согласилась и с тех пор оставляла нам ключ от дома. Только просила не водить ребят и не устраивать беспорядка. Дома было в сто раз лучше, чем у Нургозель. На худой конец, всегда можно в тепле посидеть. Вслед за нами отказались ходить к воспитательнице и Овез с Хурмой.

Овез придумал: пойти днем туда, где работают наши мамы. Мамы чистили старый арык. Нужно было углубить его на две лопаты и поправить откосы. В обеденный перерыв женщинам выдали кашу. Когда мама положила в чашку кусок топленого бараньего сала, ох и вкусной стала каша!

— Грех жаловаться, — говорила мама, — приворок пока есть.

Мы свою овцу зарезали, да половину туши дал, как обещал, Ходжамурад-ага. Мама накрошила мелко мясо и сало, хорошенько посолила и жарила в казане до тех пор, пока вся влага не выпарилась. Получилась ковурма, которую можно хранить впрок. Только в муке нуждались: своя давно кончилась, а колхоз еще уменьшил выдачу пшеницы на трудодни.

Мама ела хлеба чуть-чуть, чтобы нам побольше досталось. Накормив нас утром, оставляла по куску и на обед. Но мы все съедали, как только она уходила.

Ночами мама шила платья и другую одежду для Нургозель. Та платила пшеницей. Ох и трудная это

была работа — шитье! Руки у мамы от ветра и от холода огрубели, растрескались. Приходя домой, она смазывала их жиром и обматывала тряпками.

Зимние вечера длинные. Нам с Нуртэч делать было нечего, и мы рано ложились спать. В комнате, как только перестанут топить печку, становится холодно. Но под одеялом тепло. Разнежишься в тепле-то и заснешь незаметно, а мама сидит и шьет.

Тень ее занимает всю стену. За работой мама слегка раскачивается, и тень тоже. Эта тень похожа на дэва из сказки, но я ее не боюсь. Я не смотрю на нее, а смотрю на маму. Она работает день и ночь, лишь бы нам было хорошо. Как ни откроешь глаза, она все сидит раскачиваясь, мелькает иголка в ее руке, потрескивает нитка; куски материи, которые вечером были сами по себе, стали уже платьем. В комнате холодище, как на улице, но она вытирает пот со лба. Нургозель паташила ей работы — мама считается чуть ли не лучшей швеей в селе — и торопит.

Я любила, когда вечерами приходила к нам посидеть бабушка Садап. Тут уж только не засни, таких интересных разговоров наслушаешься! Но сон-предатель обязательно смотрит. А рано заснешь — рано и проснешься. Зажмуришь глаза, поворочаешься с боку на бок — еще бы поспать. Нет, не спится. Глянешь на окошко — во дворе тьма, светать и не начинало. Крепко спит усталая мама. Спит сестра. Наконец послышится неине петухов и ослиные вопли. Значит, скоро рассвет. Но не так-то легко, лежа без сна, дожидаться того, о чем говоришь «скоро».

И зимой и летом мама вставала, едва начнет светать. Она уверяла: если встать до восхода солнца, кости будут легкими, а проспшишь восход — тяжелыми. И Нуртэч поднимала ни свет ни заря. И все же растопить вовремя печку они никак не могли. Спичек не было, и приходилось дожидаться, когда проснутся сосе-

ди, брать у них угольки, класть на растопку и дуть, дуть, пока не вспыхнет пламя.

Нуртэч как-то сказала:

— Дров у нас мало, и на месяц не хватит. Зима долгая, надо в погожие дни собирать топливо.

Мама взглянула на нее с изумлением. Ее, наверно, поразило, что ребенок захвачен хозяйственными заботами.

— Правильно, моя Нуртэч, — сказала она. — В теплые дни бери с собой сестренку и заготавливай дровишки. Можно еще ходить туда, где пасутся коровы, и собирать кизяк. Только помногу не таскайте, смотрите, чтоб не надорваться. Знаешь поговорку: капля по капле — и озеро патечет. Если каждый день несколько палок приносить, целый ворох наберется. Я тоже буду привозить с поля все, что найду.

И мы с Нуртэч стали ходить по дрова. Сначала вдвоем, потом к нам присоединились другие ребята.

К югу от нашего села начинались пески. Мальчишки говорили:

— Если идти по этим барханам, попадешь в Серахс.

— А что за Серахсом? — спрашивали мы.

— За Серахсом граница, а за ней уже не наше. Афганская сторона.

Прежде я думала, что за первой грядой барханов лежат поля, селения вроде нашего. Оказалось, не так. За первой грядой дыбилась вторая, потом третья, и еще, и еще... Сколько мы ни шли, все песок и песок.

На песке полным-полно разных следов. Овез показал следы, похожие на кошачьи, и объявил, что это заяц оставил. Вот эти, вроде собачьих, — лиса, а точки, точки, точки — суслик. Распознавать следы животных научил Овеца отец, охотник.

Наконец мы добрались до зарослей черкеза, стали ломать ветки и подбирать валежник. Наберешь порядочную охапку — нужно ее увязать. Это делается так:

положишь на землю веревку с петлей на одном конце, на веревку, так, чтобы она пришлась посредине вязанки, складываешь хворост, часть — разветвлениями вправо, часть — влево, для равновесия. Потом свободный конец веревки вденешь в петлю и затянешь. Затянуть нужно туго-туго, собрав все силы, после чего веревку закрепить. Вот вязанка и готова. Осталось присесть возле нее на корточки, конец веревки вскинуть на плечо, провести через под мышку за спину, продеть под узел, потом на другое плечо, и вязанка надежно устроена у тебя за спиной.

Сначала я все собранные дрова отдавала Нуртэч, потом стала носить свою веревку. Сестра и Овез помогали тем, кто не умел укладывать дрова, но вскоре все научились.

Первый рейс мы успевали сделать до полудня. Иногда с нами ходили ученики младших классов, которые занимались во вторую смену. Старшеклассники после уроков работали в поле.

Если не очень устанем и замерзнем, после полудня снова идем за дровами. Но бывало так холодно, что рука, которой держишь конец веревки, онемевает и пальцы ни согнуть, ни разогнуть. Мы с Нуртэч шли домой и засовывали руки меж одеял. Отогревшись, уже больше не собирали дрова, а играли в три альчика или в классики. Для каждого времени года есть свои забавы. Альчики и классики — любимые игры зимней поры.

Однажды в пасмурный день мне показалось, что мы заблудились. Куда ни глянь — всюду похожие друг на дружку барханы. Идем, а барханы не кончаются. Я уже не верила, что увижу свое село. Когда наконец добрались до него, шепнула Нуртэч:

— Не пойдем туда больше...

— Правильно, — подхватил, услышав, Овез, — Нечего таскать свежий черкез, надо ходить за хворостом к развалинам мечети.

И мы стали ходить туда, где летом была бахча. Дорога длинная, ребята успевали наговориться и поспорить, а то и подраться слегка. Но зато хвороста валялось там полным-полно.

В первый раз мы пожадничали и набрали столько, что еле донесли. Больше всех было у Овеза. Он посмотрел-посмотрел на свою кучу и целую охапку отдал мальчишке, у которого была самая маленькая вязанка. Школьники испугались, что опоздают на урок, и стали мерить шагами тень — определять, который час. Конечно, не определили, только еще время потеряли. Торопливо увязывали дрова. Овез помогал всем взваливать вязанки на спины. Сам остался последним, присел на корточки возле своей вязанки и не смог встать с ней; ребята потянули его за руку, подняли.

Ох и тяжелыми были в тот раз наши выюки! Мы без конца останавливались передохнуть. Места выбирали на склонах барханов: если кладешь выюк повыше, легче вставать. Выбившись из сил, с оттянутыми плечами добрались до дому. Школьники побросали дрова и, схватив холщовые сумки с книгами, умчались.

Вечером нас похвалила мама и сказала:

— Хворосту в том месте очень много. До войны отец ваш, бывало, отправится туда затемно, а к началу рабочего дня возвращается с полной арбой.

На следующее утро, только мама ушла, явились наши попутчики и сказали, что вчера они опоздали на занятия и поэтому сегодня надо пойти пораньше. Мы с Нуртэч быстро оделись — и в путь. Зашли за Овезом. Он тоже был готов. Хотел оставить свою сестренку дома — по его словам, она только под ногами путается, — но Хурма подняла такой крик, что он разрешил ей идти с нами.

Наверное, мамы были довольны дровами, которые мы принесли, потому что все, кто ходил вчера, сегодня пошли опять.

По дороге Овез подпоясался веревкой и объявил, что это здорово: во-первых, теплее; во-вторых, обе руки свободны. Если замерзнут, можно их в карманы сунуть или под мышки.

Все последовали его примеру: в самом деле очень удобно. С тех пор мы только так и ходили.

Добравшись до развалин, Овез решил, что надо их обследовать.

— Боязно... — сказал кто-то.

— Боишься — не ходи, — ответил Овез и сам полез в развалины.

Мы, разумеется, за ним; даже самые нерешительные не отставали.

Первое строение было когда-то школой. Здесь оказалось не меньше сорока келий. На стенках некоторых сохранилась глазурь, кое-где были глиняные лежанки и подставки для книг. Всюду полумрак и какая-то неживая тишина. Не знаю, как другим, а мне было жутковато.

— Тут муллы учились.

— Нет, тут жили те, кто приехал издалека, а учились все в той большой комнате.

Заглянули в центральный зал. Там было гораздо светлее. Купол обвалился, и сквозь дыру светило солнце. Посреди зала возвышался глиняный помост.

— Для учителя, — сказал кто-то.

— Интересно, где они парты ставили? — спросил один школьник.

— Они занимались, сидя на полу, — ответил другой и добавил: — Мой дедушка здесь учился; говорил, если не приготовишь уроки, мулла бил палкой.

— Вах-эй!..

На свет мы выбрались молчаливые, задумчивые.

— Что с того, что мы сегодня рано пошли, в школу-то все равно опоздаем! — спохватились ребята.



Ох и тяжелыми были в тот раз наши вязанки!

— Не бойтесь, ханы мои, учитель не мулла, он не будет дупить вас палкой,—утешал их Овез.

— Зато будет ругать, если узнает, что мы опоздали из-за какой-то вонищей мечети.

— И нет, и нет! Недавно учительница истории приводила сюда пятиклассников. Экскурсия была.

На исходе зимы у нас кончилась ковшурма. Вот когда дала о себе знать голодуха! Мама варила болтушку с хлопковым маслом, но от нее только в кишках урчало, а сытости никакой. Пшеницу приходилось молотить каждый вечер. Зерна выдавали понемножку, и никто не ходил на механическую мельницу—все пользовались домашней, ручной. День и ночь не смолкал ее гул в доме Огульбостан-эдже. Желаящий приносил чашку с пшеницей и ставил в ряд с другими. Когда подходила очередь—шли крутить тяжелый жернов.

Мама днем работала, поэтому молотить зерно ходила по вечерам или даже ночью. Хорошо, если мы к тому времени засыпали. А если нет—страшно дома сидеть одним. Особенно стали бояться, когда услышали, что в селе появился вор. Правда, мама запирала дверь снаружи, но мы все равно боялись.

В тот день мы, как всегда, до полудня собирали дрова. Вернулись и увидели миску с пшеницей. Значит, ночью мама опять уйдет. Нуртэч сказала:

— А что, если нам самим смолотить? Вот мама обрадуется! И вечером дома будет.

Мельница, на наше счастье, оказалась свободной. Днем вообще приходило меньше народу. Огульбостан-эдже похвалила нас:

— Не сглазить бы, так и будьте опорой своей матери.

Она помогла наладить мельницу. Нуртэч села справа, я слева. Рядом с собой сестра поставила миску с пшеницей—так сподручней насыпать зерно. Не

знаю, был от меня толк или нет. Если Нуртэч снимала руку с жернова, я, сколько ни пыталась, крутить его не могла. Через каждые две-три минуты нужно было подсыпать зерно. Скоро из-под жернова стала струиться мука. Когда пшеница в миске кончилась, мы изнемогали от усталости. Вокруг жернова набралось муки порядочно. Нуртэч смела ее в миску метелочной. Получилось с краями. Довольные и гордые, мы понесли муку домой.

Вечером мама сказала:

— Я и не заметила, как ты выросла, моя Нуртэч. Совсем ведь недавно лежала в люльке, а теперь забираешь из моих рук всю домашнюю работу.

В тот вечер мы разрезали арбуз, который берегли до папиного приезда. Больше его нельзя было держать: внутри опала бы мякоть и все стало бы как каша. Ели арбуз опечаленные. Когда же, ну когда приедет наш отец?

Ходжамурад-ага зарезал барана. Большой кусок мяса Огульбостан-эдже дала нам. Мама подвешивала его под потолком, чтобы кошка не достала.

Мы принесли дрова и зашли в дом погреться. Мой взгляд наткнулся на узелок с мясом. Вот бы отрезать кусочек, посолить и поджарить на углях! У меня потекли слюнки. Сколько ни пыталась я прогнать видение, оно не уходило.

— Нуртэч, а Нуртэч! Что скажу...

— Чего?

— Ай, не скажу.

— Скажи!

— А если скажу, ты сделаешь?

— Сначала скажи.

— Нет, ты скажи—сделаешь?

— Ладно, сделаю.

— Давай съедим мясо...

Нуртэч уставилась на меня с удивлением. Не ожидала, видно, такой прыти.

— Его же не достать.

— А мы подставим что-нибудь.

Сложили под узелком все подушки — мало. Сняли верхнее одеяло со шкафчика, свернули вчетверо. Нуртэч взобралась на эту грудку, дотянулась до узелка.

Мясо не поджарилось на наших жиденьких дровишках. Зря только вываляли в золе. Вдобавок Нуртэч обожгла руку. Мы съели это полусырое мясо и поплатились: у нас разболелись животы.

Мама не бранилась. Только сказала, кроша остатки мяса в казан:

— Все до последнего кусочка оно предназначалось вам. Сама я даже попробовать его не хотела.

Ох, лучше бы она нас отлупила! До сих пор, как вспомню этот случай, от стыда жарко становится.

В конце февраля ветер принес первые запахи весны — влажной земли и свежей травки. Зелень пробивалась по берегам арыков, на южных склонах барханов. Мама посоветовала за дровами больше не ходить — мы их достаточно запасли, — а собирать люцерну. Все-таки еда.

Люцерна у нас растет на полпути к бахче, которую мы в прошлом году охраняли. Мы пришли с ведрком и стали срезать стебельки подлиннее. Но и они были еще такие маленькие — не ухватишь. Чуть ли не целый день наполняли ведрко.

Мама перебрала люцерну, выкинула сор, в трех водах помыла ее и мелко искрошила. Потом посолила, поджарила на прокаленном масле, замесила тесто, раскатала, нарезала кусочками. На каждый кусочек положила жареной люцерны и слепила. Получились пирожки в форме полумесяца. Осталось их испечь. Мы с сестрой глотали слюнки в ожидании.

Чтобы пирожки пропеклись как следует, мама то

и дело их переворачивала. Наконец сняла с печки первый пирожок, разломил пополам—так быстрее остынет—и положила на крышку казана.

Мы с Нуртэч не дали ему остыть, схватили по половинке и, обжигаясь, съели. До чего же вкусны пироги с молоденькой люцерной! Точь-в-точь как иш-лекки—пирожки с мясом. Но зато потом мы всю ночь ковша из рук не выпускали—жажда мучила.

Барханы зазеленели сплошь. Абрикосовые деревья покрылись белыми цветами. Когда проходишь мимо них, слышно, как жужжат пчелы. Почки на джиде и винограде вот-вот лопнут. А тал уже выпустил листочки.

Повыползали из нор термиты и черные муравьи, над люцерной носились бабочки, какие-то невидимые насекомые звонко свистели по вечерам.

Весна здорово облегчила нам жизнь. Во-первых, все вокруг сделалось красивым; во-вторых, можно было сбросить опостылевшие халаты и туфли со стоптанными задниками, ходить в одном платье и босиком. В-третьих, люцерна так подросла, что нарвать ее стало делом нескольких минут. А потом можешь в свое удовольствие гоняться за бабочками.

Правда, приходилось каждый день молоть зерно, и это была изнуряющая работа, но зато, когда она уже сделана, на душе становится так хорошо.

Теперь мама отваривала люцерну, прежде чем положить ее в пироги, иначе долго не пропекутся. В таком виде они нам тоже нравились, только подавай!

Раз, набрав полное ведро люцерны, мы присели у арыка вымыть руки—от травы они стали темно-зелеными. Нуртэч старалась вовсю.

— В этом году пойду в школу, — говорила она. — Нужно руки отмыть дочиста. Я слышала, что с грязными в класс не пускают.

— Нас хотели в прошлом году записать, но не записали, сказали: если будет много учеников, придет-

ся лишний класс открывать, а учителей не хватает,— сообщил Овез.

—А вдруг и меня не возьмут?

Эта забота надолго овладела сестрой.

Не только мы собирали зелень, и мама тоже. Она приносила с поля съедобные травы кертык и акпамык. Маленькие **резные** листочки кертыка приятно-острые на вкус, зато акпамык—ни то ни се. Почему он считался питательным, не знаю.

На севе хлопчатника взрослые работали с рассвета дотемна, и маме не всегда удавалось набрать травы. Главными поставщиками оставались Нуртэч и я. За люцерной мы больше не ходили: она сделалась жесткой. Теперь мы собирали **сельмё**—лебеду. Песчаная лебеда стелется по барханам, листочки у нее сверху серебристые, а снизу красные. Нарвать ее не трудно, но вот сколько ни мой, все равно, когда ешь, песок хрустит на зубах, почему и предпочитали мы черную лебеду, которая растет на глинистых участках.

Поздняя весна наряднее ранней—в ее одежде красные, зеленые, голубые, лиловые цвета. От пустыни глаз не отведешь — маки, тюльпаны, колокольчики. Маки пылают по утрам, а к середине дня исчезают. Только внимательный взгляд отыщет бутоны. Мы их срывали и спрашивали друг у друга: дочь или сын? Если в бутоне красно—дочь, если лепестки еще белые—сын.

Черной лебеды было много у развалин мечети, и мы теперь туда часто наведывались. Там еще и грибы попадались. Увидишь бугорок—копай: это гриб растет. Но можно и ошибиться. Расковыряешь землю, а там тебя ждет не дождется желтый скорпион с воинственно задранном хвостом.

Грибы выходят целыми семьями. Попадется один—ищи поблизости его родню. У нас старое правило: кто первый найдет грибное место, тот может



очертить его кругом, и никто уже не должен переступить эту черту.

Чаше других везло Овезу, но он ведь такой непоседливый: сначала начертит круг, а потом что соберет—разделит на всех.

Как-то раз на большущий выводок наткнулся Ага-мурад. Он сразу заорал:

— Чур, мое!

Мы тоже стали искать, но, видно, в этом месте больше не было грибов. Тогда Овез вошел в круг и говорит нам:

! — Айда все!

— Эй, эй, убери руки!—крикнул ему Агамурад.

— А что, грибы твой дедушка здесь посеял?

— Не дедушка, но я же очертил!

— Подумаешь, очертил! Ребята, налетай!

Агамурад рванул Овеза за рубашку. Оvez толкнул Агамурада, тот упал.

— Еще хочешь, мой хан?—спросил Оvez.

Агамурад снова на него кинулся, но мы не дали им подраться—растасшили. Тогда обиженный схватил свое ведро и, бормоча под нос ругательства, ушел домой.

— Зря ты с ним связался,—сказала Нуртэч Овеzu.—Вот посмотришь, наябедничает матери, и она прибежит к вам с бранью.

Вечером мать Агамурада действительно явилась скандалить к Овеzu в дом.

— Попробуй тронь моего сына хоть пальцем!—кричала она.—А ты (это матери Овеза) смотри за своим шенком, не то пожалеешь!

Мать Овеза ничего ей не ответила, и она, покричав еще немного, ушла.

На другой день Оvez позвал нас за абрикосами к дальнему арыку, который между нашим колхозом и колхозом «Горельде». Идти туда долго. И абрикосы были совсем еще маленькими, даже косточки не окрепли.

Оvez забрался на дерево, рвал и кидал нам, мы наелись так, что зубы заныли от оскомины. Вдруг стал накрапывать дождь. Только тогда мы спохватились, что торчим здесь уже давно. И травы еще не набрали.

Побежали в село. А дождь припустил и скоро полил ливнем. Домой мы пришли мокрые до нитки. Тут нас встретила разгневанная мама. Из-за дождя рано кончили работу. Мама думала, что мы сидим дома и

на улицу носа не покажем—там ведь потоп настоящий,—но нас дома не застала. Подождала немного и отправилась на поиски; обошла чуть не все село и нигде своих дочек не обнаружила. Ей стало страшно, всякие мысли полезли в голову. Кого спрашивать, куда бежать? И вдруг являются негодницы, мокрые, дрожат и зубами стучат.

Ох и задала она нам жару! Ругала и за то, что мы лебеды не набрали. Но даже я поняла, что трава тут ни при чем. Просто мама сильно за нас испугалась.

К середине мая солнце взялось печь совсем полетнему. В считанные дни зелень в степи сгорела. Собирать нам стало нечего. Но уже желтел ячмень и начала колоситься озимая пшеница. Настроение у всех заметно улучшилось: скоро жатва, скоро чуваль наполнятся зерном.

Как-то вечером к нам пришел Силап. Я почему-то боялась этого человека. Нуртэч всерьез уверяла, что глаза у него сделаны из камня. И еще все считали, что у Силапа поганный рот. Даже жену он ругает грязными словами. Счастье ее, что не обращает она внимания на брань.

Войдя в дом, Силап не сел на кошму, а остался стоять у порога.

— Огульджерен, этим летом тебе придется смотреть за курами,—говорит он маме.—Завтра на работу не выходи, я с бригадиром договорился: готовься к переезду на ферму.

Мама не сразу ответила: видно, растерялась от неожиданности. Потом сказала тихо:

— Мне никогда не приходилось за птицей смотреть. Я, наверно, и не сумею.

— Сумеешь. Там с душой нужен человек, а то куры без конца болеют и дохнут.

Перебравшись на ферму, мама первым делом навела везде порядок. Вычистила просторный курятник, подмела двор, выкопала яму и зарыла в нее мусор, вымыла желоба, из которых куры пили, и наполнила чистой водой.

Мы поселились в маленьком домике возле курятника. Теперь нас будили петухи. К их пению скоро привыкаешь, потому что если просыпаться каждый раз, как они закричат, то лучше не спать совсем.

Триста кур бродили где им вздумается и в курятник заходили только нестись. Забежит туда курица, покудахчет-покудахчет и выходит. Посмотришь, а там яйцо. Мы его сразу же забирали: придет другая курица, может склевать или раздавить. Постоянно лежали в гнездах только подкладыши. Нам нравилось собирать теплые свежие яйца. Но есть такие куры, которые поровят снестись в арыке или в кустах где-нибудь. Возни с ними хватало. Куда только не лазили мы с Нуртэч в поисках самодельных гнезд!

Недалеко от нашего жилища находилась свиноферма. Там работала полная светловолосая голубоглазая женщина—тетя Маша. Руки у нее были всегда обнажены—она носила платье с короткими рукавичками. Поверх платья у нее был подвязан фартук.

Старший сын тети Маши, Сергей, воевал, как наш отец, а младший, Курбан, жил вместе с ней при свиноферме. Тетя Маша пришла на другой день после нашего переезда, познакомилась с мамой и долго рассказывала ей, как надо ухаживать за курами.

Нам она понравилась. Через несколько дней мы отправились к ней с ответным визитом.

Жилище тети Маши сильно отличалось от знакомых нам домов. Комнатка чистенькая и светлая, у стены большая кровать под покрывалом, посреди комнаты стол и стулья, а у окна еще стол, очень ма-

ленький. На окне пестренькие занавески, в углу—большое зеркало. Нам все показалось красивым, хотя и странным.

А вот свиней, за которыми тетя Маша ухаживала, мы не любили. Вернее, их не любила наша мама.

Как-то тетя Маша затеяла чурек печь и пришла к нам спросить закваски. Мама дала.

Заворачивая закваску в фартук, тетя Маша пообещала:

— Завтра верну.

— Нет-нет, не надо,—поспешно сказала мама.— Я себе новую сделаю.

— Что,—засмеялась тетя Маша,—моя закваска харам—поганая?

Мама покраснела и не сразу нашлась что ответить.

— Ты ухаживаешь за свиньями. Свиньи харам,—наконец смущенно пробормотала она.

Но тетя Маша все же принесла закваску и вдобавок половину чурека. Закваску мама бросила курам, а душистый и теплый хлеб уплели мы с Нуртэч.

Корма не хватало, и куры наши жили впроголодь.

— Нет сил смотреть на бедняжек,—сокрушалась мама.

Она несколько раз ходила к Силапу:

— Если ничего не сделаем, куры все до одной передохнут.

Было решено вывезти их на подножный корм—на люцерники. Там проходил полноводный арык, по берегам которого росла джида. Под деревьями мама с помощью арбакеша—возчика — устроила шалаш, чтобы жить, и насесты для кур.

Вдоль насестов натянули проволоку, по ней на длинной цепи ходил наш старый друг Конгурджа. И здесь он должен был воевать с шакалами: оказывается, они любят курятину не меньше, чем сладкие

дыни. Нуртэч сооружала гнезда с навесами, я ей помогла.

Спали в шалаше только мы с сестрой. Мама ложилась на открытом воздухе: так она скорее проснетсЯ, если с курами что-то случится.

Вот где я по-настоящему настрадалась от петушиного крика. Казалось, всю ночь напролет орут прямо в ухо. Уж и не знаю, как притерпелась в конце концов.

Люцерна цвела. Ее сиреневые цветочки пахли медом. Со всех сторон к ним слетались пчелы.

Тетя Маша показала нам, как плести из цветов венки и ожерелья. Мы с Нуртэч мастерили себе украшения не хуже, чем прошлогодние бусы.

Как только куры отъелись на воле, некоторым из них захотелось высидивать цыплят. Мама сделала специальные гнезда, в которые положила по 10—15 яиц. Мы сыпали наседкам корм, приносили воду. Недели через три из яиц вылупились маленькие, пушистые, похожие на клубки цыплята. Клушки квохтаньем собирали их около себя, учили находить и склевывать корм. А чуть что — распушат перья, крылья растопырят и спрячут малышей от опасности. На ночь тоже каждый выводок устраивался у мамыши под крылом. Но через месяц клушки уже гнали от себя цыплят: большие стали, пусть живут самостоятельно.

Мама каждый день ходила в село—отнести корзину яиц на склад и смолоть зерно. Уходя, она про-



сила нас на время оставить игры и зорко стеречь кур.

— Шакалам ничего не стоит и днем схватить курицу, бродящую в люцернике. А главное: смотрите, чтобы ворона или кобчик цыплят не потаскали.

Наш красный петух вдруг закричит престранным голосом: «Дыгт!», куры истошно закудахнут — тут уж немедленно выскакивай из шалаша: пожаловал какой-нибудь хищник. Мы начинали вопить, размахивать руками, и большая птица, испугавшись, взмывала в небо.

Созрела пшеница. Сняв урожай с нашего участка, мама отвезла зерно на сельскую мельницу и после этого уже редко отлучалась.

Яйца на колхозный склад стали носить мы с Нуртэч. Но однажды мама пошла сама и вскоре вернулась растревоженная. Еще не отдышавшись, стала рассказывать:

— Влезли в дом к Солтангозель. Срежь бела дня сломали замок и вытащили все... Что творится на свете! Уж и так ничего не осталось, но и за последнее должен день и ночь беспокоиться! А у нас замок — одно название.

На другой день мама сходила домой, собрала в узел все, что, по ее мнению, могло прельстить воров, и принесла в шалаш. Лучшее свое платье из красного шелка с вышивкой на груди: она давно продала Нургозель, серебряные украшения почти все сдала в помощь фронту, оставив себе лишь несколько мелких вещей. Но у нее еще были новый бархатный халат, шерстяной платок, кусок шелка.

И все же мы не убереглись. Однажды утром нас разбудили мамины причитания.

— Вах, все до одной вещички унесли! Чтоб пропасть вам, мерзавцы, чтобы корень ваш выгорел!.. Ай, беда, ай, доченьки, обокрали нас...

Потом, успокоившись немного, говорит:

— Ночью я проснулась от какого-то стука, При-

слушалась—тихо. Конгурджа из-за каждого пустяка лает, а тут молчит. Я все же встала и обошла насесты. Вроде бы куры на месте. Ну я и легла снова. Утром хотела вскипятить чай — тунчи нету. Заварного чайника тоже нет. Я за узел... И узла нет. Ай, горе!

И мама снова запричитала.

Тоскливо сделалось на сердце. То, что вчера было привычным, своим, сегодня стало чужим и опасным. Следы, оставленные ночными посетителями казались отпечатками лап чудовища.

Конгурджу мы нашли далеко от шалаша, в старом арыке, заросшем колючкой. Верный пес лежал с открытыми глазами и прикушенным языком.

По мнению мамы, воров приходило двое. В то время как один отвлек Конгурджу и расправился с ним, другой обобрал нас.

Мама пошла в село рассказать о случившемся, но в ту пору ловить воров было некому. Ей посочувствовали, и все. А мы с Нуртэч забились в шалаш и сидели там до ее возвращения.

Конгурджу похоронили. Прежде чем опустить его в яму, мама закрыла ему глаза, погладила морду. И заплакала. Плакали и мы с Нуртэч.

— Цены не было этому псу, — сказала мама. — Теперь такого не найдешь. Негодяи, конечно, хитростью взяли его, а то бы он им не дался.

Во второй половине дня пришел Ходжамурад-ага, привел нам новую собаку, белую, по кличке Акбай. Мы показали дедушке место, где зарыли Конгурджу.

За чаем они с мамой еще раз обсудили происшествие.

— И откуда берутся эти выродки? Лишняя печаль народу в такое тяжелое время, — ворчал Ходжамурад-ага. — Не иначе как Амана-шалопая работа. Больше некому. Чтоб ему стыд глаза выел.

Я была поражена. А разве не дэв уташил вещи?

Неужели этот славный веселый дядечка? Он на днях заходил к нам, выпил пиалу чаю, говорит:

— Иду мимо, дай, думаю, проведу их.

Нет, не верится мне. Или дэв, или фашист. Один из тех, с кем папа воюет. К такому выводу пришла я.

— Он был здесь дня два тому назад, — сказала мама. — Не с добром, значит, приходил.

— Вот-вот. Вынюхивал, что и как. А я еще удивляюсь, откуда ему известно, где ты пожитки свои хранишь.

— Вещи, конечно, жалко. — Мама тяжело вздохнула. — Но хуже всего, что такие люди рядом. Не знаешь, как от них оборониться. Как будто мало нам проклятой войны, так еще и воры!

— Ладно. Ты не очень горюй. И не бойся. Знаешь поговорку: если люди ослабнут духом, то свиньи им на голову сядут.

Первое время после кражи мама, ложась спать, прятала под подушку нож.

У нас только и разговоров было, что про воров. Кто он, этот Аман-шалопай? Прозвище он получил недаром. Никогда ничем путным не занимался, так, болтался. Нечистой на руку считали у нас и Огульнабат, мать Амана-шалопая. Никаких отношений с сельчанам — они почти не поддерживали и жили-то на отшибе.

Когда началась война, Аману, как и другим, пришла повестка. В тот же день Аман отправился в пески на охоту, и к вечеру его привезли с простреленной рукой.

Огульнабат подняла крик на все село:

— Ай, ой, проклятое ружье выстрелило, убило моего сыночка!

Но люди, знавшие «сыночка», судили иначе.

— Если шалопай не причинит вреда ружью, то ружье ему и подавно. Сам он себя подстрелил, чтобы избавиться от фронта.

Но уличить самострела никто не мог, как никто не

поймал его на краже. А не пойман — не вор. Вот и жил не тужил Аман-шалопай.

Но после войны он все же угодил в тюрьму. Попался, когда хотел выкрасть девушку из соседнего села. Девушка та закричала что есть мочи, родители услышали, выскочили, поймали Амана, связали ему за спиной руки и отвезли в город, в милицию. Когда его судили, многие из нашего села ездили послушать.

Новый пес Акбай исправно нес службу, но у него был непривычный и, как нам казалось, неприятный голос. Проходишь мимо — он провожает равнодушным взглядом. А Конгурджа, бывало, так и засияет, увидев нас, так посмотрит, что для него и последнего кусочка чурека не жаль.

В шалаше мы жили до холодов, потом перебрались в домик на ферму.

Нуртэч осенью пошла в школу. Мама сшила ей сумку, в этой сумке она в первый же день принесла с уроков книжки, тетради, карандаши. Разложив на кошке свои сокровища, Нуртэч с гордостью взирала на них, а мне не давала даже пальцем дотронуться. Завидовала я мучительно.

А тут еще ей уши прокололи. Проткнули мочки иголкой и сквозь дырочки пропустили шелковую нитку. Это сделала Огульбостан-эдже. Не успеешь ахнуть, как уши Нуртэч украсятся бусинками. А мои останутся пустыми.

Спросившись у мамы, я на следующий день пошла к Огульбостан-эдже. Впервые отправилась в дальний путь одна, без сестры. Всю почти дорогу бежала, туда и обратно.

Огульбостан-эдже оказалась дома. Я храбро попросила проколоть мне уши, но сама порядком трусила.

Соседка терла мне мочки солью до тех пор, пока

они не стали красными, как маки. Тогда взяла иглу с шелковой ниткой, которой вышивала, и сделала в мочках дырки. Это как укус пчелы, больно, но я не заплакала. Огульбостан-эдже сказала, чтоб я несколько дней не купалась, а то проколотые места начнут парывать. И еще надо мазать их каленым хлопковым маслом и время от времени сдвигать ниточки с места, чтобы не приросли.

К маме я примчалась как человек, сделавший большое дело. Она меня похвалила и сказала, что скоро поедет на базар и привезет нам оттуда косынки.

Как мы ждали ее возвращения! Нам казалось, что солнце в тот день совсем не двигалось. Наконец мама появилась вдали. Нуртэч скорей стала кипятить чай. Я побежала встречать.

Косынок мама не привезла: слишком дорого стоят. Мы не обиделись, но лучше бы она ничего не обещала, уезжая на базар.

У НАС СВИРЕПСТВУЕТ КОРЬ

Хлопковые поля снова побелели, второй раз подошел срок, о котором говорила гадалка, но папа все не ехал и писем не присылал. Мама теперь гораздо реже вспоминала отца вслух: не могла без слез произнести его имя. Мы с сестрой были еще слишком малы, чтобы постоянно испытывать скорбь, как она, однако и наши глаза оказывались на мокром месте, когда речь заходила об отце.

Но вот случилась беда, которая временно отодвинула все другие горести на второй план. В селе появилась корь. Мама перестала выпускать меня на улицу, а Нуртэч наказала, кроме школы, никуда не ходить. Только и слышишь: у одной заболели дети, у другой, у кого-то ребенок умер. Свалила корь и Овеза с Хурмой. Овез перестал ходить в школу.

А потом пастушата, гнавшие коров с пастбища, крикнули мне, что Овез умер. С колотящимся сердцем прибежала я к маме.

— Боже мой, боже! — забормотала мама. — Ведь золотой был мальчик. Кому нужна эта смерть... О проклятая война, нет таких бед, которые ты не причинила! Если бы не война, у нас давно бы построили больницу, приехали бы доктора, не допустили бы до кори.

Она торопливо набросила на голову старенький халат, стала искать свои туфли, шепча:

— Надо успеть, пока его не унесли.

Я тоже кинулась собираться.

— Ты куда? Оставайся дома! — прикрикнула мама, но я не осталась.

В мазанке Овеза собралось много женщин. Почти все плакали, но ужаснее других — невозможно слушать — кричала его мать.

Посреди комнаты на горке песка кто-то лежал, накрытый одеялом. Я не сразу сообразила, что это Овез. Он же был маленький мальчик, чуть повыше Нуртэч, а здесь лежал кто-то длинный.

Огульбостан-эдже торопливо шила саван из белой бязи. Мужчины толпились во дворе. Тетка Овеза откинула одеяло, чтобы взглянуть на него, и тут я увидела его мертвое, начавшее синеть лицо.

Я закричала от страха. Мама прижала меня к себе. Я еще долго дрожала.

Как нам теперь без него? Ведь совсем недавно Овез верховодил нами, придумывал такие интересные игры. Он нас никогда не обижал. И говорил: «Вырасту — буду шофером!»

Женщины, сидевшие за нами, шептались.

— Бедняжка умен был — ну прямо взрослый человек, только ростом мал. Я уж думаю, не дурной ли глаз его коснулся, — говорила одна.

— Сыпь не смогла выйти наружу и бросилась внутрь, вот он и помер, — отвечала другая.

Мама вызвала меня во двор. Почти следом за нами вынесли тело Овеза и положили на лестницу. Видно, не успели сделать погребальные носилки. Лестницу подняли пятеро мужчин и побежали, через несколько минут их сменили другие. По обычаю, умершего надо похоронить как можно скорее. Мы с мамой ушли.

Смерть товарища меня потрясла. Я не раз плакала во сне.

Как мы ни остерегались, корь добралась и до нас. Вначале заболела Нуртэч. Пришла из школы, сказала, что ее знобит, и легла. Встревоженная мама натопила печь и с тех пор старалась день и ночь поддерживать в комнате тепло. Три дня Нуртэч вся горела. На четвертый день мама перевернула ее на живот и осмотрела спину.

— Слава богу, высыпала густо, как кошма, — сказала она.

На пятый и шестой день сыпь покрыла веки, щеки, руки Нуртэч. Она лежала молчаливая, щуря глаза. Мама время от времени давала ей попить кипяченой воды, больше Нуртэч ничего не брала в рот. Несколько раз заходила справляться о ее здоровье тетя Маша.

Наконец, совсем измучив сестру, болезнь пошла на убыль. Но много дней еще Нуртэч, худая и бескровная, ходила как тень.

Выздоровела сестра — слегла я. У меня начался сильный жар, я металась во сне, бредила, кричала.

— Какая ты нетерпеливая, — говорила мама. — Нуртэч вон и голоса не подавала.

Лампу она всю ночь не гасила, только прикручивала фитиль. Стоило мне застонать или завозиться, она вставала и склонялась надо мной, шепча ласковые слова.

На четвертый день сыпь не появилась и на пятый тоже. Мама совсем потеряла голову. С тех пор как

захворала Нуртэч, она не пи-
ла, не ела и почти не спала,
почернела, состарилась ра-
зом, на себя стала непохо-
жа, а тут еще моя болезнь
куда-то не туда пошла.

Мама бросилась к ба-
бушке Садап. Та ощупала
мое лицо и руки и сказала:

— Подожди немного, мо-
жет, выйдет еще.

К вечеру несколько крас-
ных точек обнаружилось на
спине. Мама немножко ус-
покоилась. Но мне вскоре
стало хуже. Я уже не кри-
чала, не капризничала, сде-
лалась ко всему безучастной
и таяла день ото дня. Нур-
тэч сидела возле меня и все
повторяла:

— Сестреночка моя, сест-
реночка...

Заходили соседки, шеп-
тали:

— Будет чудо, если вы-
живет.

Пришла и тетя Маша.
Она взглянула на меня и
сказала маме:

— Если бы дочь твоя
могла сама, лежа дома, вы-
здороветь, то уже давно
была бы здорова. Доктор
ей нужен, лекарства. Вези-
ка ты ее, милая, в город,
пока не поздно.



А тут как раз из города приехали два доктора: очень много больных стало в селе. Мама разыскала их и привела к нам домой. Врачи меня осмотрели, потом один из них написал записку, отдал маме и сказал на ломаном туркменском языке:

— Сестра, девочка плоха. Надо ехать в город. Хорошие доктора есть. Там девочке станет хорошо.

Поехали мы на арбе. Мама завернула меня в два одеяла и третьим накрыла, чтобы было тепло и не жестко. Сама она села рядом.

В городе арба остановилась возле высокого каменного забора, за ним стоял двухэтажный дом. Арбакеш хотел войти во двор, но его не пустили, тогда он показал записку. Позвали доктора. С его разрешения арбакеш взял меня на руки и отнес в дом. Мама пошла за нами, но ее остановили. Это была инфекционная больница — «заразка», не раз слышала я потом.

В комнате на первом этаже какая-то женщина сняла с меня платье (только что сшитое и надетое первый раз), свернула и унесла. Другая натянула на мое тонкое тело длинную белую рубашку. Меня отнесли на второй этаж, в самую крайнюю комнату — палату. Там уже была девочка, еще худее, чем я, и русская женщина с годовалым ребеночком. Девочка, как я позже узнала, лежала в больнице давно. У нее было желтовато-белое лицо, а вместо рук и ног кости, обтянутые кожей. Ее называли «тяжелая».

Весь первый месяц в больнице я не чувствовала никакого облегчения, хотя русские девушки утром и вечером делали мне уколы и три раза в день заставляли глотать лекарства. Со мной обращались ласково, но говорили по-русски, и я ничего не понимала.

Мама меня навещала. В палату ее не пускали, но маленькая русская старушка приносила и складывала в тумбочку гостинцы от нее.

Вечером, когда гасили свет, я укрывалась с головой одеялом и плакала. Слезы сами так и лились. Ста-

раясь не всхлипывать, чтобы никто не услышал, я плакала от тоски по маме, по сестре, по дому. Как мне хотелось домой!

Мама приезжала ежедневно. Однажды она приехала с Огульбостан-эдже. Та оказалась бойчее и придумала ходить под окнами, окликая меня по имени. Оба окна в палате, где я лежала, выходили на улицу. До нас доносился гул машин, говор прохожих. Вдруг кто-то выкрикнул мое имя. Может, мне почудилось? От болезни часто в ушах шумело. Но имя прозвучало еще раз, отчетливо, под нашими окнами.

Вскочила с кровати, смотрю — внизу стоят мама и Огульбостан-эдже. Я забарабанила по стеклу, и они меня увидели. Сначала я крепилась. Даже крикнула им несколько слов, но потом силы мне изменили.

На мой голос прибежала дежурная медсестра. Она попыталась меня успокоить, а маме сделала знак «уходите», но мама не ушла. Она тоже плакала, вытирая глаза кончиком шали.

Женщина, соседка по палате, отворила окно. Стало слышно, что мама говорит.

— Я к тебе каждый день приезжаю, но повидать тебя до сих пор не удавалось. Не голодная ли? Кушаешь домашнюю еду?

— Дочь твоя стала как хворостинка! — ахнула Огульбостан-эдже. — Пойдем, попросишь большого доктора, пускай отдадут ее, домой заберем.

— Мамоочка, увези меня отсюда! — заголосила я сверху.

Они пошли искать «большого доктора».

Мама спросила у него о моем здоровье. Переводчиком им служил мальчишка-туркмен, знающий русский язык.

Врач ответил:

— Твоя дочь скоро будет здорова.

— Нельзя ли забрать ее домой?

— Нет, еще рано.

Гости мои собрались в обратный путь. Я стала умолять:

— Подождите немножко!

И задержала их недолго. А когда они в конце концов ушли, мир показался мне еще более неудобным и холодным, чем прежде. Я снова стала плакать. Опять пришла дежурная, усадила меня к себе на колени, говорила что-то доброе, но я не унималась. Тогда девочка, лежавшая в нашей палате, сказала слабым голосом:

— Ну чего ты плачешь? Поправись — и ладно. Если бы мне сказали, что я выздоравливаю, я бы целый год лежала и не пикнула.

Слезы мигом высохли. Мне стало очень жаль девочку — столько было отчаяния в ее тихих словах.

С мамой мы виделись и разговаривали ежедневно — через окно. Самочувствие мое и настроение с каждым днем улучшались.

Наступила весна. Сначала я обратила внимание на дерево за окном: набухли почки. Потом заметила, как цветок в горшке пошел в рост. А у меня появился аппетит: я съедала все, что давали нам в больнице, и все, что привозила мама.

Я полюбила смотреть на улицу. Раньше город пугал меня, а теперь притягивал. Часами гляди — не надоест. По улице проезжали машины, реже арбы. Шли женщины с сумками и исчезали в дверях магазинов. Тяжело волоча ноги, тащилась какая-то старушка. Куда она? На базар? Русские девочки в коротеньких платьицах, держась за руки мам, быстро-быстро перебирали ногами, чтобы не отстать. Проходили туркмены в огромных овчинных папахах. Сельские туркмены ехали на осликах. Особенно многолюдной становилась улица под вечер, когда заканчивался рабочий день.

Больничные ночи тоже не казались мне теперь му-чительно долгими — я спала без просыпу.

Соседке моей с весной стало хуже. Тело ее опухло, а личико заострилось, под глазами появилась чернота. Глаза как ямки. Она ничего не ела, дышала с хрипом. Доктора почти не отходили от нее, и много раз в день медсестра поднимала шприц иглой вверх — делала укол. А девочка молчала, уставившись в одну точку.

В тот вечер она стала задыхаться. Принесли кислородную подушку. Уколы, видно, не помогали больше. Когда я засыпала, вокруг ее кровати стояли врачи.

Проснулась я, едва начало светать. Дерево под окном темнело ветвями на фоне бледного неба. Я взглянула в тот угол, где лежала девочка. Ее не было, и постель унесли, только стояла голая железная кровать. Сердце мое забилося от ужаса. Я знала, что девочке плохо, но не думала, что она умрет, верила: доктора, которые столпились вокруг, обязательно спасут ее.

Другая моя соседка, русская женщина, сидела в постели и беззвучно плакала, прижимая к груди ребенка.

Мелькнула мысль: а вдруг и я отсюда не выберусь, так тут и умру? Скорчившись под одеялом, я разревелась. Всхлипывая, твердила:

— Вай, мама, ой, мама, мамочка!

Вошла няня, откинула одеяло, вытерла мне глаза и нос. У нее у самой веки припухли. Наверно, и она плакала ночью.

Наконец меня выписали. Вместе с мамой за мной приехала и Нуртэч. От радости она не могла на месте устоять. Представляете, как ликовала я! Но случилось и огорчение: пропало новенькое платье, в котором привезли меня в больницу. Мама долго ворошила вещи на складе, где хранится одежда больных, но так и не нашла платья. То ли кто-то по ошибке взял, то ли дурной человек позарился. В конце концов мама завернула меня в свой халат и так вынесла. Мы с Нуртэч поехали на ишаке, а мама пошла рядом.

Минувало два месяца. Я думать забыла про болезнь и больницу. Все мои мысли теперь занимала школа. Не раз я увязывалась за Нуртэч, она меня гнала, но я все равно бежала следом. А дома потом ждала: ну скоро она придет?

Однажды Нуртэч вернулась раньше обычного и такая радостная!

— Мама, мама, — закричала она с порога, — война кончилась! Учительница сказала. Мы победили! Теперь-то уж папа приедет, правда?

— Победили... — На мамины глаза вдруг набегали слезы. Но она не плакала, наоборот, улыбнулась. — Слава богу! Радость, ой, радости!

В селе стало шумно. Нашу улицу называли женской: кроме Силапа и трех-четырех стариков, здесь не было мужчин. А теперь стали появляться один за другим, и один за другим следовали тои.

Во время войны каждая трапеза начиналась и заканчивалась словами: «Пусть вернутся ушедшие». Теперь дорогих фронтовиков встречали всем, что можно было сыскать.

А те, кто получил похороны, плакали. И надеялись, несмотря ни на что, такие, как наша мама, на извешние вестей.

Мама говорила:

— Ночью, как услышу на улице шум, встаю и выхожу посмотреть, не он ли едет.

За несколько дней до победы пришло извещение о том, что погиб дядя Акы, отец Энеджан. Душераздирающий крик Солтангозель услышали все, и все побежали к ее дому. Она рвала на себе одежду.

Справили по Акы поминки. На поминки пришла Нургозель, но лучше бы не приходила. Не похоже было, что она скорбит о гибели хорошего человека и соседа. Болтовня ее всех возмутила.

— Да, эта война многим принесла горе, а у нас обошлось, — трещала она. — И Силапа было призва-

ли, но потом отпустили, сказали: нужен в колхозе. Он умный человек, даже председатель его уважает и все делает, как он скажет.

У многих язык чесался прервать эти бесстыжие речи, но не станешь же пререкаться в доме, где траур. Когда Нургозель со словами: «Вот-вот Силап придет, пойду его встречу» — удалилась, все облегченно вздохнули.

Потом женщины ругали ее:

— Ну что с ней делать? По лбу бессовестной дать или язык отрезать? Как будто люди не знают муженька ее. Силап умеет свой карман набивать и утробу!

Приехал отец Овеза. Пустой левый рукав гимнастерки засунут за ремень, ворот расстегнут, и видны бинты на плече. Раньше он считался заядлым охотником. А теперь? Как он будет стрелять? И Овеза больше нет...

Мамед, внук бабушки Садап, вернулся на костылях. Одна нога его казалась толстой-претолстой от намотанной на нее марли. Но с костылями он ходил недолго, побросал их и лишь слегка прихрамывал, а потом и хромота прошла. Молодое тело сильнее недугов.

Вернулся и куриный сторож. Пересчитав кур, мама сдала их ему с рук на руки, и мы снова стали жить в нашей мазанке.

Заяцл свое место прежний председатель. А Силап как числился завфермой, так и остался.

— О, этот паршивый хитёр! — говорили люди.

Фронттовики всё съезжались. Были среди них и здоровые, и легкораненные, и калеки. Не возвращался только наш отец. Маме советовали:

— Напиши-ка туда, куда другие пишут, может, кое-что и узнаешь.

— Гельды, будь он жив, нигде не стал бы задерживаться, — отвечала мама. — Он давно примчался бы, приполз к этому порогу. Никто не любил свой дом, свою семью так, как он.



Фронтовики все съезжались. Были среди них и здоровые,
и легкораненные, и калеки.

— Вот и остался наш порядок щербатым, — вздыхала бабушка Садап.

Мы не знаем, где, когда, как погиб наш отец, но уверены, что сражался он с врагом до последнего дыхания.

ШКОЛА

В средние лета у дяди Курбана родилась дочка. Дядя Курбан — старший папин брат. Он пастух. До сих пор детей у него не было.

Хозяйкой гельнедже Бибиджемал была некудышной. Если не работала в поле, то день-деньской ходила из дома в дом. К себе возвращалась только под вечер и ставила тесто, а чурек пекла уже в потемках. Чурек у нее всегда с одной стороны подгорал, а с другой не пропекался. Мякиш был клейкий, как смола, и на вкус кислый.

— Вечно она тесто недомешивает, — говорила мама.

И стирку гельнедже затевала ближе к ночи. Много ли от такой стирки проку? Женщины над ней смеялись, а мама, хоть и отмахивалась: «Да пусть ее!» — все же сердилась. Ей не нравилось, когда плохо отзывались о ком-то из нашей родни. Поэтому одежду дяди Курбана чаще стирала мама.

Дядю Курбана мама тоже не больно хвалила, говорила, что он не стоит и половины нашего отца: сквернословит, шумит, грубый.

— Хотя, — добавляла она, — попадись ему жена получше, может, он таким не стал бы.

Было у нашей гельнедже и неоспоримое достоинство: она умела держать язык за зубами, не сплетничала, не бранилась, на попреки мужа не огрызалась, разве уж очень ее дойдет.

Однажды утром мама не пошла в поле, а принялась все подряд трясти и чистить в доме дяди Курба-

на: старательно обмела пропыленную комнату, вывелокла и выколотила все до одной кошмы, а мы с Нуртэч сушили на солнышке и трясли одеяла и подушки.

— Вот так,—приговаривала мама.—Скоро в этом доме появится маленький. Да люди, которые придут взглянуть на него, пусть не морщатся от пыли.

Приданое для будущего ребенка—распашонки, пеленки и прочее—тоже шила мама, а бабушка Садап сплела из шерсти веревку для люльки.

Когда наступили роды, мама дежурила у постели гельшедже. В тот день мы с Нуртэч на ишаке молотили нашу пшеницу. Терпеливый ослик не спеша ходил по кругу, а мы по очереди восседали на нем—почему бы не покататься со скуки? Наконец из-за закрытых дверей донесся крик. Бросив ишака и пшеницу, мы побежали узнать, кто родился. Мама обещала выйти и сказать. Родилась сестренка. Мы очень обрадовались, но оповещать никого не пошли. Почему-то, когда появится девочка, у нас было не принято сообщать всем о новорожденной.

Тем не менее новость быстро разнеслась по селу, и женщины стали сходить к дому дяди Курбана. Вряд ли собралось бы их столько, если б дочка родилась в семье, где уже были дети. Но дочка дяди Курбана заставила себя ждать тринадцать лет.

— Разбогатели вы. Пусть года ее будут долгими. А дочь или сын—какая разница. Появилась одна, появятся и другие.

Так говорили женщины, глядя на малышку. Девочка была беленькая, толстенькая, как будто родилась не только что, а две недели назад. Ее называли Энебай, в честь нашей бабушки, давно умершей.

И вот как раз в то время, когда все переполошились из-за малютки Энебай, пришли два человека и записали меня в школу.

— Сколько лет твоей младшей?—спросили они у мамы.

— К началу хлопкоуборочной исполнится семь. Тогда они вписали мою фамилию в тетрадку, которая у них была.

— Ну, дождалась и ты,—сказала мама. —Теперь будешь учиться, как Нуртэч.

Что тут со мной сделалось! Я была вне себя от радости: у меня появятся книжки, тетрадки и карандаши, как у Нуртэч. Так же как она, я буду по утрам ходить в школу. Там узнаю много-премного интересных вещей и потом сама буду рассказывать, а не слушать, как рассказывает Нуртэч: «А у нас в классе...», «А вчера на перемене...» Да ее еще и не упростишь рассказать что-нибудь.

— Отстань, мне надо уроки учить, — отмахивается она.

И в то же время мне было страшно, потому что школа—я это чувствовала—круто изменит мою привычную жизнь. Однако страх не мешал мне нетерпеливо считать дни до начала занятий. Считать я вообще очень любила с недавних пор. С тех пор как Нуртэч научила меня этому.

Через пятнадцать дней после рождения нашей сестренки приехал дядя Курбан. Мы увидели его, когда он привязывал своего ишака у стойла. Бросились к нему, повисли с двух сторон на его плечах и приговаривали:

— У нас появилась сестричка, ее назвали Энебай.

Может, он и обрадовался, не знаю. Вижу не подал, наверно, потому, что родилась дочь, а не сын. Но все заметили: с той поры дядя Курбан стал лучше относиться к своей жене. По крайней мере, он мог теперь спокойно с нею разговаривать, а гелъпедже, не приученной к нежностям, этого было достаточно. Энебай согрела и сблизила холодных и с каждым годом все более отдалявшихся друг от друга людей.

У нас с Нуртэч прибавилось забот. Родив ребенка, тетя Бибиджемал не изменила своих привычек. Положит девочку в люльку—и пошла обходить все дома на улице. Энебай подмокнет, проголодается или просто испугается и начнет кричать. Вот мы и бегаем по селу, ищем, где ее мама.

Подошло и первое сентября. В последнюю ночь перед школой я не могла уснуть. И так ложилась и этак, и крепко-крепко глаза зажимуривала, и несколько раз сочитала до пятидесяти (дальше не умела)—говорят, уснуть помогает, но сон не шел ко мне. Легче было резиновый мяч утопить в воде, чем мне погрузиться в забытие. Если б можно, я не стала бы дожидаться утра и отправилась в школу сейчас же.

Мама, как всегда, шла, сидя у лампы; она взглянула на меня и сказала:

— Что с тобой? Спи!

Хорошо ей говорить «спи». А если я не могу? Ну нельзя сейчас идти в школу, так ведь можно о ней поболтать. Но за минувшие дни я своими разговорами о школе порядком надоела маме. Пожалуй, она рассердится, если я снова заведу речь все о том же.

Мама, угадав мое состояние, отложила шитье, наклонилась ко мне и несколько раз погладила по щеке. Ее рука как бы сняла охватившее меня возбуждение, и я наконец уснула.

Проснувшись чуть свет. Сложное чувство радости и беспокойства снова овладело мной. Растолкала Нуртэч, а она такая же, как всегда, словно сегодня и не первое сентября. Не спеша умылась и оделась, а я, давно готовая, в нетерпении топталась у порога. Мне казалось, что мы уже опаздываем... опоздали! У меня вообще такой характер: если уж надо идти, то лучше идти пораньше.

В конце концов мы все-таки выбрались из дому. Вот и школа. Сколько там ребятни! Никогда бы

раньше не поверила, что в нашем селе так много мальчиков и девочек.

Нуртэч завела меня в комнату, на двери которой значилось: «1-й класс», и заставила положить сумку во вторую парту среднего ряда. Она считала, что со среднего ряда лучше видно написанное на доске. Потом мы снова вышли на улицу. Нуртэч увидела своих подружек и ушла с ними, а я осталась одна. Таких, как я, первогодков, что-то не видать. С криками носились ребяташки постарше, деловито сновавали подростки, с рассеянными, снисходительными лицами проходили хозяева школы—старшеклассники. Если чей-нибудь взгляд случайно падал на меня, я вся съеживалась от смущения.

Перед началом уроков нас построили в четыре ряда. Я оказалась в самом конце шеренги. Директор школы, заложив руки за спину, проходил вдоль строя, к кому-то спрашивал:

— Как отдохнул?

Другому делал замечание:

— У тебя рубашка грязная, в таком виде на занятия не приходи.

Поравнявшись со мной, он спросил:

— Ты чья дочь?

— Дочь Гельды.

— Гельды? Вот оно что...—Он внимательно и грустно посмотрел на меня, покачал головой.

Позже я узнала: директор вместе с моим отцом уезжал на фронт.

Он поздравил нас с началом учебного года. Школьники дружно захлопали в ладоши, а мы, пришедшие впервые, немного растерялись и отстали, захлопали невпопад: директор стал уже рассказывать, какие классы в какую смену будут заниматься, с какого часа будут начинаться уроки.

Я слушала, слушала и вдруг решила, что он добрый и в школе ничуть не страшно. Только в самом

начале страшно, потому что не знаешь, как себя вести, а когда узнаешь, становится весело и интересно.

Прозвенел звонок. мы разбежались по классам. В нашем классе сильно кричали, никто даже сам себя не слышал. Но вдруг все замолкли—вошел учитель. Еще недавно, услышав это слово, я сразу представляла сердитого и надменного дяденьку, такого, как Силап. Поэтому вид учителя Дурды удивил меня. Уж на кого, на кого, а на Силапа он ничуть не был похож. Глаза живые, ласковые, и сам часто улыбается. Видя, что он совсем не страшный, мальчишки снова начали переговариваться, но учитель спокойно сказал:

— Тихо!

И шум угас, как огонь, на который брызнули водой.

— Ребята, когда в класс входит учитель, вы все должны встать.

Мы встали, стуча крышками парт.

— Теперь еще раз поздороваемся.

На приветствие мы ответили нестройно, но от души.

— Давайте-ка рассядемся поудобнее.—И учитель стал разводить нас по партам: маленьких вперед, больших назад.

Я была высокой для своего возраста. Учитель пересадил меня за пятую парту. Моей соседкой оказалась второгодница Огулджемал.

Потом каждый из нас получил по букварю. Мы принялись с азартом перелистывать страницы, а учитель раздал нам еще тетрадки и карандаши. Прохаживаясь между рядами, он негромко рассказывал, как нужно обращаться с книжками и тетрадками, где их держать дома.

Мы слушали, боясь пропустить хоть слово. Этот человек овладел нашей волей с первых минут. Позднее я училась у опытных педагогов, слушала лекции

известных профессоров, но при слове «учитель» перед моими глазами неизменно возникает образ Дурды-ага.

После переменки я вернулась в класс, как к себе домой. Школа оказалась даже лучше, чем я думала. Одно разочаровывало: мне хотелось сразу же научиться читать и писать, в один день догнать Нуртэч, но учитель толковал о школьном распорядке, о правилах поведения. Потом отпустил до завтра.

К утру я успела как следует соскучиться без школы, без учителя Дурды. Он приготовил для нас кое-что новенькое. Велел открыть тетрадки и чертить в них карандашом прямые палочки. Сначала несколько таких палочек он нарисовал на доске, потом у каждого на страничке.

— Теперь попробуйте сами.

Мы старательно водили карандашами, а он ходил от парты к парте и смотрел, что у нас получается. И все время делал замечания:

— Не сутулься...

— Поверни тетрадь к свету...

— Возьми карандаш в правую руку...

В конце урока сказал, что научиться писать и читать, стать умными и образованными мы сможем только в том случае, если будем прилежны.

Начав с палочек, постепенно перешли к буквам и цифрам. Но я, сколько ни старалась, не могла писать



так же ровно и красиво, как учитель Дурды. То длиннее, чем надо, получится, то короче, а то и вовсе криво. Моя соседка Огульджемал писала лучше меня. Хоть ее и оставили на второй год за неуспеваемость, буквы-то выводить она наловчилась.

Мы без конца ломали свои карандаши — видно, от усердия слишком нажимали. И учителю не надоедало снова затачивать их. Он часто нам говорил:

— Хорошо. Молодцы. Ай, вы, наверно, все отличниками станете, если и дальше будете так стараться.

И мы были горды и счастливы.

Однажды Энеджан-плакса неправильно написала букву и вскрикнула:

— Ой, мама!

Все захохотали. Учитель на нее не взглянул, словно ничего не слышал. Он строго посмотрел на нас, даже постучал карандашом по столу: тихо! Энеджан перестала смущаться, а нам сделалось стыдно.

Я как-то додумалась: попросила Нуртэч выполнить за меня домашнее задание — она очень красиво пишет. Учитель взглянул в мою тетрадь и сделал на полях замечание: «Не пишите за нее». Ему не нужен был чей-то красивый почерк. Ему интересны были только мои, пусть даже корявые, письма. Он сравнивал сегодняшние каракули со вчерашними и определял, продвинулась ли вперед его ученица.

Состоялось первое классное собрание. После уроков учитель Дурды велел всем сидеть на своих местах и стал говорить о том, что в классе должно быть чисто, и книжки наши с тетрадками должны выглядеть аккуратно, и сами мы должны приходить умытыми и опрятно одетыми.

— Для того чтобы следить за чистотой, выберем сейчас санитарную комиссию, — сказал он в заключение. — У кого есть предложение?

Не знаю, как другие, а я, право, даже поумнела оттого, что учитель говорит с нами как с большими.

думаю, и все чувствовали себя повзрослевшими, но тем не менее молчали.

— Нет предложений? Тогда я вам помогу,—выждав, сказал учитель.—Давайте выберем в санитарную комиссию одну из самых старательных и аккуратных учениц—Гельдыеву.

Меня точно ударило. Я низко нагнула голову. Как же так? В классе многие одеты гораздо лучше меня. Вон у Мамаджан каждый день новое шелковое платье. А я не помню, чтобы когда-нибудь носила шелк. Да какой там шелк, ситцевых-то всего два,—мама еле успевает стирать и сушить. На ногах у Мамаджан новенькие ботинки, халат у нее бархатный. А я хожу в галошах и в халате, который прежде носила Нуртэч. После школы иду не домой, а в поле, помогаю маме собирать хлопок; руки у меня поцарапанные и довольно-таки черные. Правда, мама каждое утро твердит:

— Перед школой хорошенько умойся и надень чистое платье.

Но сколько ни трешь руки, царапины не смоешь.

Учитель сказал—«старательная». Стараться-то я стараюсь, потому что полюбила и школу и его самого, только откуда он знает о моих стараниях? По тетради определил? Но я пишу хуже, чем другие...

Очнулась я, услышав свою фамилию.

— Гельдысва, — говорил учитель, — завтра проверь у всех руки и одежду. Если кто-нибудь придет грязный, скажешь мне.

На следующий день почти все пришли чистенькими. Сама-то я мылась с особым усердием. Но вот подошла Мамаджан. Руки у нее были чистые. Беленькие. Зато шея... А уши! Целый год она их не мыла, что ли? Вот почему ее не назначили в санитарную комиссию, догадалась я. А что же ее мама? Не видит? Моя, когда поливает мне из кувшина, приговаривает:

— Уши не забудь, шею вымой да за ушами, за ушами...

С начала учебного года прошло месяца три. Мы уже могли складывать буквы и читать слова, даже писать те, которые легче.

Учитель Дурды вызвал меня к доске и велел написать слово «мама». Я взяла мел и увидела высокую светловолосую женщину, с волосами, припорошенными пылью. Ей еще нет тридцати, и от нее всегда пахнет работой. У нее спокойные, добрые глаза, грустные и тогда, когда она смеется.

— Правильно. Теперь пиши «папа».

Все мое существо дрогнуло. За этим словом ведь тоже кто-то есть. Учитель Дурды? Ходжамурад-ага? Нет, нет. Но написанное рядом со словом «мама» слово «папа» как бы стояло с ним плечом к плечу.

Еще множество раз писала я всякие слова и предложения, писала и забывала. Но никогда не забуду те два слова, первые мои слова на школьной доске. Это же первые слова человека! Они обозначают два самых дорогих существа. Написав их, я вдруг с необычайной остротой отчетливостью поняла, что, кроме мамы, Нуртэч, учителя, в моей жизни должен быть еще один человек. Такой же родной, как мама. И они, как эти два слова на доске, должны стоять плечом к плечу. Но его не было. Его убили на войне. И поэтому жизнь моя получилась похожей на весы с одной чашей.

Мама отдавала нам все свои труды и заботы, всю теплоту сердца. Она стремилась сделать так, чтобы мы никогда не почувствовали горечи сиротства. И люди говорили:

— Огульджерен для своих девочек и мать и отец.

Это не верно. Она просто была настоящей матерью. А место отца в нашей жизни осталось пустым.



ОРАЗБЕРДЫЕВА ОГУЛЬТЭЧ

УТРО МОЕЙ ЖИЗНИ

Для детей среднего и старшего
школьного возраста

Редактор Белова И.
Художник Горячев В.
Художественный редактор Монсеев В.
Технический редактор Мешкова Т.
Корректор Б. Кулиева

Сдано в набор 14/VII-82 г. Подписано в печать 31/I-83 г.
Формат бумаги 60×84^{1/16}. Физ. печ. л. 5,5 Усл. печ. лист 5,12.
Учетно-изд. л. 4,05. ИМ № 1010. Тираж 24.000. Заказ № 4005.
Цена 15 к.

Издательство «Магарыф» Ашхабад. Новая 18-а
Красноводская областная типография
ул. Бешапочного, 1.